

БОРИС ЗАЙЦЕВ

ТИШИНА



ВОЗРОЖДЕНІЕ

Борис Зайцев

Т И Ш И Н А

РОМАН



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОЗРОЖДЕНИЕ — LA RENAISSANCE

73, Avenue des Champs Elysées

П а р и ж

**Tous droits de traduction et de reproduction réservés
pour tous pays.**

Copyright 1948 by the autor.

Отец трудно переносил чужую власть. Позволяя себѣ иногда насмѣшливый, даже высокомерный тон с начальством, подсмѣивался и над сослуживцами. Это создавало ему недоброжелателей.

Особенно не любил иностранцев и столичных жителей. Когда прїѣхал из Петербурга директор Правленія с помощниками для осмотра завода, которым он управлял, отец охотно угощал всѣх обѣдами и играл в винт, но в дѣлах не уступал ничего.

Однажды, поспорив с прїѣзжим инженером, полусерьезно закончил изреченіем: «кто хочет со мной разговаривать, тот должен молчать». Инженер промолчал. Но отца нашли слишком самостоятельным — замѣнили другим.

В Калугу это дошло глухо, подробностей Глѣб не знал. Все-таки понял, что нехорошо. Прїѣхала мать, тоже обезпокосная.

— Откуда-же мы будем теперь доставать деньги? спросил Глѣб.

Мать объяснила, что отец ищет другое мѣсто, а пока занят подрядом — поставляет кирпич для построек в Брянск, на желѣзную дорогу.

Это Глѣбу не так-то понравилось. Поставлять кирпич... Он знал подрядчиков, они ходят в чуйках, смаз-

ных сапогах. Совершенно неподходяще для отца. Глѣб был нѣсколько за него и обижен.

Радостно, разумеется, что теперь мать будет жить с ними в Калугѣ. Но вообще жизнь сжалась. Мать явно тревожилась, была сумрачна, часто вздыхала. Отец не то в Брянскѣ, не то в Орлѣ. Мать со вниманіем читала его письма-донесенія. Глѣб тоже читал. Отец жаловался, что дѣла неважны: недостаточно грузят, в пути задерживают начальники станцій, ожидая взятки. Все запаздывает... — может быть и прав был гимназист Глѣб, полагая, что не барское дѣло поставлять кирпич. Но так как это дѣлал отец, а отцовское всегда интересно, то Глѣб стал даже записывать, сколько куда отправили кирпича, слѣдил за этим и к веснѣ так увлекся, что иногда думал о груженных вагонах не меньше, чѣм об уроках. Но вагоны продолжали идти туго. Однажды мать сообщила, что придется продать Будаки. Глѣб и Лиза спросили в один голос:

— Гдѣ-же мы будем лѣтом?

Они спрашивали с искренним изумленіем. Как так? Кто-же останется в городѣ на лѣто?

— Может быть, лѣто и сможем еще прожить в Будаках... там посмотрим.

Это «там посмотрим» знал Глѣб с ранних лѣт. Хорошаго оно не предвѣщало.

Но на этот раз он ошибся. В началѣ іюня, послѣ благополучных экзаменов, в Будаки всетаки тронулись. И к великой Глѣба и Лизы радости мать рѣшила отправиться на пароходѣ.

Солнечное утро, пухлая облачка в небѣ, извозчик, мимо городского сада погромыхивающій к Окѣ,

чувство сданных экзаменов, вольнаго и заслуженнаго лѣта в Будаках... развѣ плохо?

У пристани тот самый «Владимір Святой», звук колес котораго так любил прежде узнавать Глѣб с будаковскаго балкона.

Он съ восторгом всходил на него по мосткам с берега. Рѣка зыбко блистает. Пахнет водой, теплым и масляным из машины. Пароход, с будаковскаго берега казавшійся огромным и таинственным... — вот он, весь тут!

Любопытно было сидѣть в бѣлой рубкѣ с красными бархатными диванчиками, гдѣ по потолку струились златистыя от воды змѣи, смотрѣть на капитана в бѣлой фуражкѣ, на матросов, хлопотавших около свернутых кругами канатов. В глѣбовом мозгу мелькнуло вдруг: да имѣет-ли еще он право ѣздить так, по своей волѣ, на пароходѣ? Но мгновенно память возстановила возможные ученическія преступленія: нельзя без разрѣшенія ходить «в театры, концерты, на публичныя зрѣлища» — про пароходы ни звука. Слава Богу. Значит, ничего дурнаго.

И когда «Владимір» послѣ медленных маневров у пристани, криков, гудков, наконец залопотал колесами, тронулся, Глѣб с чувством увѣреннаго в себѣ взрослога путешественника смотрѣл, как уходила Калута в садах, бѣлѣя церквами, с домиками по взгорью, над которым возносился Собор — он над всѣм господствовал.

Двѣ кружевныя, в бѣлой пѣнѣ струи вились за кормою от колес, а потом расходились стеклянным колебаніем, похлопывая в берегах. Плыть Глѣбу нравилось, Ока покойна, зеркальна впереди, кой гдѣ с пѣжною рябью. Лѣса подходят с нагорнаго берега,

все мирно, свободно, пахуче. Но сам пароход — теперь просто лишь занимательное, а не прежнее поэтически-фантастическое. Ъхало нѣсколько пассажи-ров, в третьем классѣ мужики, бабы. Все это было естественно, но буднично, как милым, но и незамѣт-ным показался снизу от рѣки будаковскій сад с ча-стоколом, с огромным дубом — Глѣб лишь по дубу этому и узнал усадьбу.

На перевозѣ, ниже Будаков, «Владимір» остано-вился. Мать, Лиза, Глѣб спустились в танцующую лодочку, которую гребец оттолкнул веслом от паро-хода: покачиваясь на окских волнах побрела она к берегу, а «Владимір» вновь забурлил колесами и мимо Авчурина покати́л вниз к Алексину.

На пристани телѣжка и отдѣльная подвода для вещей — приказчик Арсѣій сіял потным гоголевским носом, засѣл на козлы, подхихикивал и трусцой вез господ берегом Оки в имѣніе, им уже и не принадле-жавшее: купец Ирошников задних подписал купчую и задаток перевел отцу. Но до октября домом и усадьбой еще можно было пользоваться.

Будаки и теперь, на Глѣба гимназиста-третье-классника, знавшаго уже, что такое perfectum, по-дѣйствовали особенно: та-же бѣлоствольная ро́ща бе-резовая, низенькій дом, весь благоухавшій жасмином сосѣдних кустов и старинною, трогательной затхло-стью, тот-же балкон с колоннами, сад, частокол за ним, откуда шел к Окѣ крутой спуск, дуб огромнѣй-шій, великан-охранитель усадьбы — на нем нѣ-когда он застрѣдил бѣлочку... — Глѣб помнил каж-дую вѣковую липу надѣво в их темной толпѣ, гдѣ мать прорубила в вѣтвях «окно» с видом на Оку —

все это видѣлось, чувствовалось сквозь ушедшее, хотя сам он был уже не совсемъ прежнимъ.

Глѣбъ теперь меньше охотился, больше читал. Как и прежде, подолгу любил сидѣть у калитки частокола, на скамеечкѣ под кленами, откуда видна излучина Оки, зарѣчье, романтическая усадьба Авчурино. Пароходы попрежнему шли — утром из Калуги, вечером в Калугу, но теперь в прохожденіи их не было прежней таинственности и ни Глѣбъ, ни Лиза уже не волновались на балконѣ и не спорили изъ за того, «Дмитрій Донской» идет или «Екатерина». Не ѣздил Глѣбъ болѣе и в ночное. Зато Тургеневскій «Фауст» получил для него пейзаж будаковскій, тут в саду и бесѣдка, гдѣ происходило знаменитое чтеніе. А «Обрывъ» явно за частоколом. Вниз к Окѣ и сбѣгала Вѣра к лохматому Волохову.

И еще вошло нѣчто в его жизнь: чувство разставанія. Будаки проданы! Это послѣднее здѣсь лѣто. Будаки уже не Эдем дѣтства, а что-то дѣйствительное и уходящее. Что-бы Глѣбъ ни устраивал, чѣм-бы ни занимался, ощущеніе, что отсюда скоро придется уѣхать и навсегда, не покидало. Это послѣдній островок прошлаго, впереди Калуга, ученье, сурово-безпросвѣтный склад жизни гимназической. Такія и подобныя им чувства наплывали особенно, когда он уходил в сад, отворял калитку в частоколѣ и садился на скамеечку под кленами. Тут сидѣлъ подолгу. Обольщал его свѣтъ, простор дальних за Окою полей, бѣлѣющій в липах дом Авчурина, серебряная излучина рѣчки. Как покойна в вѣчности своей Ока! Страшно становилось, когда представлял он себя — ни его, ни отца, ни матери, ни даже бабушки Франи не было еще, а Ока уже была. Другіе лѣса, другіе поля, ника-

ких Будаков и Авчуриных, а она та-же. Если-бы тысячи лѣтъ назад бросили в нее вѣтку, она так-же плыла-бы через всю страну, оказалась-бы в том-же морѣ, хотя никто страну эту не называл еще Россіей, как и море — Каспійским. Но и так-же все будет, когда ни Будаков не останется, ни отца и ни матери, ни сго, Глѣба...

Иногда пріѣзжал Ирошников. Он сам правил бурою, толстой кобылкой в телѣжкѣ, носил длинный засаленный сюртук при цвѣтной рубашкѣ без галстука, картуз и высокіе сапоги. На том самом балконѣ, откуда Ока видѣлась в «окно», мать пошла его часом. Глѣб с ненавистью смотрѣлъ на волосатые пальцы, которыми Ирошников поддерживал блюдечко, дую на горячій чай. Ирошников был обыкновенный русскій купец с нечесанною бородой, худоватым лицом нѣсколько стариннаго типа — купец с самоварами, блинами на масляницу, туховиками и «сырой женщиною» — женой. Арефій, потѣя и блестя маленькими глазками, подхихикивая, с восторгом глядѣлъ на него. Мать держалась вѣжливо-холодно. Для Глѣба-же он был обликом пошлости, врагом-разрушителем Будаков. Он потрагивал в усадьбѣ каждый угол, прохаживался по дому, дѣлал свои замѣчанія. Неодобрил, что в комнатѣ с венеціанским окном, выходящим на лужайку к березовой рошѣ, сушили зерно. Особенно любил ходить среди берез — не так, как Глѣб, с ружьем или просто мечтательно — Ирошников с Арефіем пересчитывали березы, ставили на них кресты и отмѣтки: осенью будут сводить, как и старья липы с окном на Оку.

Ирошников был человекъ жизни и своего ремесла. Смѣшно было-бы ему разыгрывать поэта — напрасно

презирал его калужскій гимназист. И лишь юностію его можно объяснить то, что его раздражало равнодушіе Ирошникова к красотѣ и природѣ.

А красота иногда и являлась в Будаках в ослѣпительном своем величіи.

Сумрачный августовскій вечер. Глѣб долго читал, потом вдруг замѣтил, что яблони сада освѣтлѣли и в комнатѣ появился тихій, пріятный отблеск. От дневного дождя все было в саду мокро, блестяло. Глѣб встал, отложил Гончарова, прошел сѣнцами в корридор. Дверь в пустую комнату полуотворена. Он заглянул. На полу тускло поблескивает неровным слоем зерно, тяжелое, слегка глянцевитое. Только что отворили венеціанское окно. Еще не разошелся густой, запахом зерна, затхлостью напоенный воздух. А снаружи втекало вечернее благоуханіе. На фонѣ берез над лужайкою летѣли мелкія воздушныя капельки — уже не дождь, а сребристый сѣв, прохваченный нѣжностью вечерняго солнца. Вся комната с венеціанским окном, сушившейся рожью, налилась золотом успокоившейся природы и для послѣдняго ея торжества в невѣдомых небесных измѣненях вдруг возстала ярчайшая радуга. Но как близко! Конец ея — Глѣбу показалось — уперся в лужайку пред домом, у флигелька Арсфія, дальше невѣсомая павлинохвостая арка возносилась высоко над березами в сѣрозеленое небо.

Глѣб сѣл на подоконник. Какая тишина! И какой мир. Какой отблеск неземной.

«Господи, хорошо нам здѣсь быть... Сдѣлаем здѣсь три кущи...» Глѣб не подумал, да и не посмѣл бы подумать так. Но откровенія Природы не мог не ощутить.

В залѣ Ли́за играла. Глѣб сидѣлъ, пока радуга не померкла, потомъ всталъ и направился къ сестрѣ. И она, и ея звуки — это было свое, союзное. Такъ и надо, хорошо, пусть играетъ. Онъ вошелъ къ ней не безъ робости. Она доигрывала, взяла нѣсколько мягкихъ заключительныхъ аккордовъ, подняла на него глаза. В нихъ и трепетало, и сіяло нѣчто — всегда являлось оно въ ней послѣ музыки. Глѣб скромно сѣлъ.

— Ты... что?

— Ничего. Я на радугу смотрѣлъ изъ той комнаты.

— Да, радуга. И прояснило. То-то на нотахъ у меня отсвѣтъ. Хорошій вечеръ?

— Замѣчательный.

Ли́за сидѣла худенькая, съ острымъ лицомъ и большими глазами, съ челкой на лбу, гребенкою сзади, силуэтъ ея выдѣлялся на фонѣ яблонь въ саду. Легкій туманъ тамъ курился.

— Жаль Будаковъ! — сказала она. — Я очень ихъ любила. Подумай, послѣдніе наши дни здѣсь, а потомъ Ирошниковъ все испортитъ и раззоритъ.

Глѣбъ вздохнулъ. Онъ совсѣмъ такъ же чувствовалъ. Ему нечего было прибавить къ словамъ сестры.

За нѣсколько дней до отъѣзда пришло отъ отца извѣстіе — онъ получитъ, наконецъ, мѣсто въ Нижегородской губерніи, гдѣ-то за Муромомъ, управлять заводами, и на лучшихъ даже условіяхъ, чѣмъ прежде. Однимъ словомъ, все какъ слѣдуетъ. Глѣбъ былъ радъ за отца. Кирпичи и вагоны — все по боку, отецъ возвращается ко всегдашнему своему дѣлу.

Мѣнялись теперь и калужскіе планы. Мать уѣхала

вперед в город. искать квартиру. Глѣб и Лиза остались одни в Будаках, опаздывая в гимназію, но чтобы попасть уже на новое устроеніе.

Будаки-же явно кончались. Ирошников хозяйничал без всякаго стѣсненія — рубил березовую рошу, сносил людскую, вывозил в Калугу обстановку. Дом голѣл, пустѣл. Лиза с Глѣбом со дня на день ждали письма, чтобы ѣхать. Здѣсь перечитали уже всѣ книжки. Длинные вечера осенніе коротали во флигелькѣ Арефія. Он подхихикивал, масляно улыбался, к каждому слову прибавлял: «когда я служил у князя Курцевича...» Загадочный этот князь надоѣл Глѣбу и Лизѣ безмѣрно. Они отводили душу сражаясь в свои козыри.

Письмо, наконец, пришло. Мать сняла квартиру на Спасо-Жировской — Глѣб не знал даже гдѣ в Калугѣ такая улица—и звала их немедленно выѣзжать.

Частью и грустно было, частью и радостно. Будаков жаль. Но Будаков райских дней дѣтства все равно уже нѣтъ, Будаки-же раззоряемые, с Ирошниковым и Арефіем, в слякоти осенней... — лучше уж со-всѣм новое!

К этому новому вез их в пасмурный день высланный матерью из Калуги извозчик. У пролетки верх поднят. Под его темным укрытіем Глѣб с Лизой. У них сухо. По кожаному фартуку постукивают капли, собираясь в лужицы. Перебѣгают на толчках справа налево, иной раз выплескиваются. По спинѣ кучера, в глянцевитом кожанѣ, бѣгут струйки. Твердая шляпа его, с расширеніем кверху, вся черна, мокра.

Спускаясь в глубокой овраг «Степанов камень», подымаясь из него шагом по юсклизлой дорогѣ, в си-

зой сѣткѣ дождя, завѣшивающей лѣса, ложочки и бугры, хлюпая мимо купоросной зелени озимых или у размокшей пахоты с черно-поблескивающими грачами, приближались они к городу. Если-бы Глѣб был старше, то под сумрачным своим шатром мог-бы пофилософствовать и так, что не есть ли жизнь ряд путешествій, укладываній и раскладываній, отъѣздов, пріѣздов. меж которыми и стелется ткань ея.

Но он вовсе об этом не думал. Послѣ краткой меланхолиі отъѣзда, за послѣдними березками Будаков воображеніе стремилось уж вперед.. Хоть еще юн был, но как и взрослому хотѣлось затянуть вперед, по крайности, представить себѣ зиму в городѣ, квартиру на улицѣ со странным наименованіем Спасо-Жировка...

Часа через полтора дождь перестал. Лиза просила опустить верх. И когда извозчик, неохотно слѣзшій с козел, сдвинул сбоков этого верха шарниры, он беззвучно упал — и открылся свѣт Божій. Облака еще хмуро ползали. Но уже разорванныя и повыше. Меж ними проталины курились. Вот-вот и полоснет свѣтом.

Вокруг все мокро, черно. И как пахнет! Широко выступила за рѣкою Калуга, по наторному берегу разстилаясь садами, домами, куполами тридцати шести своих церквей — над ними ярко бѣлѣет сейчас Собор, на фонѣ тучи полуушедшей. Все послѣ дождя остро, четко, влажно. Рядом городской сад с пестреньким рестораном «Кукушкой», огромный губернаторскій дом, гдѣ нѣкогда Смирнова принимала Голя. Еще дальше, за Одигитріевской и древним жилищем Марины Мнишек, обрывается город к рѣчкѣ Яченкѣ, притоку Оки. Там в паркѣ тоже губернатор-

ская дача, и тоже там жил Гоголь. Гоголь видѣл за лугами этой Яченки темносинѣющей знаменитый бор, что идет к Полотняному заводу Гончаровых.

Выѣхали на перемышльское шоссе. Мимо берез столѣтних медленно спускались к Окѣ, когда солнце предвечернее прорвалось прохладным лучем — Калуга заблестала зеленью, бѣлизной колоколен, вся залилась свѣтом плавным.

В Соборѣ наверху звонили — всенощная. Шагом переѣзжали Глѣб с Лизой понтонный мост. Стекла сияли на горѣ. Заливающимъ, пышно-плавный лился колокол, ему начали вторить и меньшіе, в других церквях.

Глѣб взглянул на «Владимира Святого», мирно у пристани стоявшаго. Чувство, что вот опять он въѣзжает в эту Калугу, гдѣ гимназія и директор и вся сѣрость жизни, неприятно стѣснило сердце. Он обернулся к сестрѣ.

— А нам не попадет, что опаздываем в гимназію?

Лиза скорчила обезьянью мордочку, стала похожа на смѣшную старушку.

— О, Господи Батюшка... всегда чего нибудь выдумает.

— Ничего не выдумываю.

— Всегда выдумывает и всего боится.

Лиза стрѣльнула ловко. Глѣб дѣйствительно склонен был видѣть все гимназическое безнадежно, воображать разные страхи.

Он надулся. И с преувеличенным равнодушіем отнесся к вопросу Лизы: гдѣ собственно эта Спасо-Жировка?

Извозчик показал рукой направо — в горку, мимо Архіерейскаго подворья: «Там и будет самая Жировка».

Глѣбу не особенно нравилось это названіе — он предпочел-бы болѣе поэтическое. Но что подѣлать. Вскарабкавшись шажком на подъем, захватив угол базарной площади, извозчик дѣйствительно повез их направо, миновал сонное, в садах, Архіерейское подворье, пересѣкъ Никольскую. Обернулся опять к Лизѣ.

— Вот она эта самая и есть Жировка.

Улица довольно просторная и чистая. В началѣ ея церковь. Спокойные купеческіе дома. Через нѣсколько минут, уже начав опять спускаться под гору, они остановились у особняка с воротами, калиткою во двор. Второй этаж его деревянный, над нижним каменным. Нѣчто солидно-мѣщанское. Ворота открыты. Извозчик въѣхал во двор, слегка заросшій сквозь мелкій булыжник травкою. Сарай, амбары. службы. Из конюшни Петька выводил Скромную.

Мать улыбалась с крыльца.

— Ну вот, сыночка, и новое наше жильѣ.

Жильѣ предназначалось и для Лизы, обращалась же мать лишь к Глѣбу. Так принято было.

По деревянной лѣстницѣ, свѣже-выкрашенной, пахнувшей краской, с сѣро-красным половичком поднялись наверх — хотя улица и неблагозвучна, но квартира понравилась и Глѣбу, и Лизѣ. Пять больших комнат, простор, свѣтъ, все отдѣлано заново, свѣженькіе обои, пахнушіе еще краскою полы с половичками — если ступить прямо на половицу, останется туманно-потный слѣд. Длинный фасад во двор — издали, за крышами под горой блестит дуга Оки. Это Глѣба тоже порадовало. Он высунулся даже в окно — оттуда пріѣхали, там Будаки.

Короткій-же фасад дома — на улицу: она спуска-

ется здѣсь вниз, направо, к зданію тюрьмы и все той же Окѣ.

— Мнѣ очень тут нравится, — говорила Лиза.

— Это твоя комната, а это сыночкина.

Глѣб не удивился, что его комната лучше Лизиной и той, гдѣ будет жить мать: он просто этого и не замѣтил, а замѣтил-бы, тоже не заинтересовался-бы.

Так и должно быть. Это естественно.

Глѣб сразу довольно пріятно почувствовал себя здѣсь. Свѣтъ часто поставленных окон, дальній и просторный вид, запах краски, ощущеніе чистоты, новизны... — все хорошо.

Ужинали под большой висячей лампой. Послѣ Будаков казалась она ослѣпительной. Мать рассказывала, что отец уже в Илевѣ, далеко, на границѣ Тамбовской и Нижегородской губерній. Там большіе заводы. Все запущено, в безпорядкѣ, ему много работы. На другом заводѣ, Балыковском, он должен перестроить домну и передѣлать дом. Они туда и переѣдут. Но это еще не скоро. Зиму мать проведет в Калугѣ.

Глѣбу это понравилось. Нравилось и то, что теперь поселится с ними кузина «Соня-Собачка».



Церковь в началѣ улицы была во имя Спаса, мѣстность-же, видимо, издавна называлась Жировкой, и хоть названіе это скорѣе веселое — как будто-бы тут «жируют» — ничего особенно веселаго в Спасо-Жировкѣ не было. Обыкновенная улица русскаго города, вниз спускающаяся к тюрьмѣ, Окѣ.

Гдѣ-то внизу и кожевенные заводы — иногда в

щегольской пролеткѣ, парою на пристяжку, спускался туда их владѣлец, розовый молодой купчик Каштанов, сѣроглазый, нарядный. Мѣщанскія дѣвушки заглядывались на него, а то и Лиза с Собачкой хихикали из окна. Вот и все развлеченіе!

На той сторонѣ улицы, окна в окна с глѣбовой комнатой совсѣм мрачный дом, двухэтажный, тяжелый, вечерами темный — развѣ в кухнѣ огонек. Ворота на замкѣ. Во дворѣ склады, амбары. Подводы подѣзжали к воротам, тѣ отворялись, опять захлопывались, а потом тѣ-же подводы с грузом пеньки, жмыхов, выбирались обратно. И опять тишина! Или выѣдут в телѣжкѣ, на дородной кобылѣ и обитатели: два брата, безусые и безбородые, с желтовато-одутловатыми лицами.

Но это все было лишь окруженіе. И Глѣб, и мать, и Лиза, Соня, жили своею жизнью, в свѣтлой квартирѣ, как на островѣ, со Спасо-Жировкой не сливались (мать называла ее, даже, слегка с усмѣшкой, на французскій манер: Спасс на Жироннь).

Каждое утро Петька подавал к подѣзду Скромную, в пролеткѣ на резиновых шинах. Глѣб, полный уроками, Лиза и Соня кое как размѣстившись, катили в гимназію. Глѣба Петька ссаживал на углу Никитской, а дѣвиц вез в их учрежденіе. Иногда, отстегивая фартук пролетки, слегка им подмигивал — Петька и раньше был развязен, а попав в Калугу вполне стал считать себя львом столичным.

Гимназическія дѣла Глѣба оказались неплохи: за опозданіе не корили (мать заранѣе все уладила), пропущенное он нагнал быстро. А вообще в этом году, плавно изо дня в день катившемся, чувствовал он себя нѣсколько по иному. Гимназія, как и рань-

ше, нерадостна. Та-же тяжелая скука, недруг-директор, унылые учителя и надзиратели. Но все это не совсем так принималось, как раньше. Глѣб точно-бы крѣпче стоял на ногах. То, что у них в Калугѣ хорошая квартира и почти бѣговая лошадь, на которой он ѣздит в гимназію, что он хорошо одѣт, знаком с губернатором, что его дядя всему городу извѣстный врач «Красавец», что он учится отлично, подымало его в собственных глазах. Не такой уж он затерянный, безправный...

Разумѣется, всегда может случиться неприятность в гимназіи, все-таки, когда выходил он послѣ уроков на подѣзд и там ждала своя лошадь, свой кучер, то не только швейцар, но и выходившій учитель смотрѣл на него благосклоннѣе. Приятно было и вызывать зависть товарищей — иногда он подвозил их: рыженькаго Докина, хромого Каверина. Раз даже предложил вышедшему с ним математику завести его — математик поблагодарил и согласился.

Так шли обыденные дни юнаго гимназиста Глѣба, а дѣла страны, его вскормившей, шли своим, им назначенным ходом.

Раз, в октябрѣ утром, Глѣб, как всегда слѣз у гимназіи с пролетки, думая, вызовет-ли его нѣмец. Петька с Лизой и Соней Собачкой покатили дальше. Медленно раздѣвшись внизу, подымался он к себѣ в класс. Было прохладно, сѣро, окна открыты. По корридору дуло.

Его догнал Докин. Они поздоровались.

— А ты знаешь новость? Государь скончался!

— Ну-у...

— Ей Богу правда.

Глѣб не знал, что сказать и вообще, как себя дер-

жать. Государь скончался... это, конечно, очень плохо...

— Навѣрно, уроков не будет.

Красныя руки Гордѣнки как всегда вылѣзали из рукавов мундирчика. Он имѣл вид самоувѣренный.

— На панихиду погонят вниз.

Рыженькій Докин не согласился.

— Не может быть, чтобы на весь день отпустили. Алгебра пропадет, конечно, и та слава Богу. А нѣмецкій я все-таки буду готовить.

Глѣб был нѣсколько смущен, но взволнован-ли? Конечно, нѣчто случилось... но — он совсѣм не знал этого Императора. Видѣл лишь на портретах, отношенія к нему не имѣл. А нѣмецкіе глаголы... Да, отмѣнят нынче нѣмецкій, или нѣтъ?

Так-же смотрѣли и товарищи. Перед первым уроком в классѣ стоял шум, как обычно. Дежурный не успѣвал стирать появлявшіяся на аспидной доскѣ надписи, Иванов второй гонялся за Павловым Петром, а хромой Каверин, заткнув уши руками, вслух зубрил над своей партой латинскую грамматику. Концерт развивался нормально — чтобы с приходом учителя вдруг превратиться в читаемую дежурным молитву, до которой тоже никому дѣла не было — в особенности учителю.

Сегодня все вышло иначе. По коридору проходил полный, слегка обрюзгшій, со спутанной бородой и карими пріятными глазами учитель русскаго языка Петр Кузьмич.

Этот Петр Кузьмич, сын сельскаго священника, учился нѣкогда в Московском университетѣ, был обитателем Козих и Бронных, слушал Стороженок и Ключевских, ходил в театр на галерку. С друзьями не

раз нѣл «Гудсамус». На Татьяну плакал пьяными слезами, когда лохматый литератор, вскочив на стол в ресторанѣ «Петергоф», звал желающих «вперед на бой, в борьбу со тьмой». Кончив университет засѣл в Калугѣ. На бой уже не звал, но рассказывал о былинах, Словѣ о Полку Игоревѣ, задавал сочиненія «О значеніи поэзіи Пушкина в русской литературѣ», ставил отмѣтки. В городѣ играл в винт и выпивал. Обычно был тих, невесел. Но иногда вдруг приходил в ярость.

Сейчас Петр Кузьмич пріостановился, а потом отворил стеклянную дверь и грузным туловищем на коротких ногах с высоко подтянутыми штанами ввалился в класс.

— Что это за шум?

Он спросил громко, с недовольным оттѣнком, но ничего особеннаго в вопросѣ не было. Именно потому, и еще потому, что его не боялись (скорѣе даже любили), шум нисколько не смолк: просто не обратили вниманія.

Но сегодня Петр Кузьмич был особенный. Уже красный, уже взлохмаченный, вдруг он побагровѣл, налился кровью.

— Тише! Слышите вы, тишина! Молчать!

Он орал уже как изступленный.

— Государь скончался, а они... они... молчать! У Россіи горе, а они... взрослые, должны уже понимать! Император умер... Императора нѣт!

Он подскочил к первой партѣ, хлопнул пухлой ладонью:

— Траур! Поняли, траур, а они...

Петр Кузьмич задохнулся. Дрожащей коротковатой рукой вытащил из задняго кармана вицмундира

платок, отер им лицо, глаза, бросился вон из класса. С порога успѣлъ снова крикнуть:

— Молчать!

Глѣб ясно видѣлъ на глазах его слезы. Он был с ним в добрых отношеніях, Петр Кузьмич ему даже нравился. Нѣкоторое смущеніе он чувствовал и сейчас, нѣкую за класс неловкость. Но всетаки... — Петр Кузьмич их изругал, в том числѣ и его, Глѣба. Это слишком. Шум был обычный, к смерти Императора это отношенія не имѣло. Конечно, печально, что он умер. Но плакать, убиваться из-за этого Глѣб не мог. Таких чувств просто в нем не было. Он не вѣрил, что они есть у других.

Явился Криворотый. все потекло как должно. Криворотый уныло побалтывал рукою за спиной под фалдой вицмундира — сейчас в актовом залѣ будет панихида. Построиться попарно, «не производя ненужнаго шума» спуститься вниз.

И надзиратель поплелся в слѣдующій класс, отдавать то-же приказанье. А на доскѣ тотчас появился мѣлом изображенный леонардовскій урод с поясненіем внизу: «Криворотый».

Стирать некогда уже было дежурному — спѣшно строились и сталкиваясь на лѣстницах и поворотах с другими классами, шли к актовому залу. Гимназія тронулась — двигалась и маршировала по коридорам, подымая пыль. Актальный зал наполнялся. Первые линіи — малыши, потом все выше и старше, кончая восьмиклассниками в юношеских угрях. Ряды обращены к портрету в золотой рамѣ, задернутому крѣпом — в глубинѣ залы. Появился директор, инспектор, учителя. О. Остроумов в золотых

очках своих, траурной ризѣ, діакон с кадиллом. Синеватый дымок вьется в залѣ.

Начальство толпится у портрета. Всѣ нѣсколько взволнованы: дѣло серьезное. Петр Кузьмич красный, опухшій, с заплаканными глазами, едва сводит на животѣ короткія руки.

Директор должен говорить.

— Всемилостивѣйшій Государь, царь-миротворецъ, благовѣрный император Александр III скончался...

Директор все такой-же высокій, худой, с костлявым кадыком. Безводный голос, сѣдая шерсть из под щек, безувѣтные глаза... А вѣдь усопшій был не только император (нѣкто сошедшій с портретов всѣх присутственных мѣст), но и живой человекъ, Александр Александрович Романов. При жизни кого-то любил, а быть может и сейчас его любят, кто-то оплакивает живым сердцем.

И навѣрно оплакивали — только не эти нѣсколько сот дѣтей, отроков, юношей, взрослых и стариков, слушавших унылаго старика. За его рѣчью шла паннихида. Но и паннихида нѣмѣла у о. Остроумова. Рядом с Глѣбом возникал и все не мог по настоящему возникнуть мир иной. Батюшка Остроумов произносил всѣ слова как надо, голосом круглым, стараясь быть «благолѣпным». Глѣб смотрѣл равнодушно на его золотые очки, неравнодушно на сѣросѣдую шерсть директорскую, полную руку Пятеркина, оправлявшего фалду вицмундира. Пахло ладаном. Діакон возглашал. Гимназисты стояли сумрачными, безразличными рядами.

В этот день приблизительно то-же происходило и по всей Россіи. Среди министров в лентах архіереев

с вялыми руками, чиновников, купцов и чуск, мужиков страны гигантской кое-гдѣ плакал Петр Кузьмич. Министры-же и архіереи не плакали, они знали отлично, как и директор гимназіи, как инспектор и законоучитель о. Остроумов, что умер один Император, на его мѣсто вступит другой, столь-же благовѣрный, все будет катиться, идти тѣм-же ходом: побыщенія и отставки, ордена, пенсіи и парады, молебны.

И как будто они были правы. В эти самые дни на тот-же, уже трехсотлѣтній, престол Романовых вступал Император новый, но такой, как и надлежало быть — притом и моложе, и гораздо изящнѣе прежняго, почти обаятельный с русой своей бородкою, мягким сбоку пробором, глазами прекрасными — государь тихій, благочестивый, богомольный... чего-же еще ждать Россіи?

К удовольствію гимназистов, уроков в этот день вовсе не было: гимназію распустили. Так как все кончилось раньше, чѣм шлолагалось, Петька не выѣхал за Глѣбом и тот пѣшком шел к себѣ на Жировку. День был сѣрый — милый безответный день осенній города Калуги. С кленов за забором (там жил учитель-француз Бедо), падали желто-красные листья, послѣдніе. Глѣб представил себѣ, как лежит в гробу Император... и уже никогда не встанет. Никогда! Страшное слово.

Глѣб шел и пришел, и на своей Спасо-Жировкѣ первый сообщил о событіи. Жизнь от этого не колебалась. Мать была так-же покойна, хозяйничала, владѣла своим мірком. Глѣб так-же должен был готовить уроки. Лиза и Соня Собачка так-же перемигивались с гимназистами. Если этот день и внес

какую-то ноту в сердце гимназиста города Калуги, то послѣдующіе уже все замели.

Глѣб, как и директор, учителя, гимназисты, надѣл траур: на рукавѣ сѣрой курточки черная повязка. На рукавѣ свѣтло-сѣрой шинели повязка такая-же. Их водили еще и въ Собор. Они слушали и у себя вновь панихиды о почившем и молебны о благоденствіи новаго, юнаго Государя, о котором знали только то, что у него чудесные глаза и вид задумчивый: о том, что он родился въ день св. Іова Многострадальнаго никто не вспомнил. Художники, фотографы приготовляли новые портреты. Сам учитель рисованія (и чистописанія) Петров взялся за кисти: надо было украсить актовъ зал молодым Императором.

Тѣло-же Императора прежняго, со всѣм пышным церемоніалом Имперіи, в траурном поѣздѣ, с литіями, караулами на вокзалах, губернаторами, генералами, солдатами, вдоль линіи встрѣч пронеслось через всю Россію, с юга на сѣвер, чтобы упокоиться в Петербургѣ меж своими.



Когда выпал снѣг, Петька стал запрягать Скромную в нарядныя санки, а Глѣб надѣл зимнее пальто с отличным воротником. На морозѣ подымал его, катил въ санках своих совсѣм важно.

Петька дожидался Глѣба в холодные дни у подъѣзда гимназіи и порядочно мерз (о чем Глѣб, садясь в санки, совершенно не думал). Как и другіе кучера и извозчики, Петька хлопал руками в рукавицах, соскакивал с козел и по скрипучему снѣгу притан-

цовывал, а когда барчук садился, то Петькино главное развлеченіе было катить по Никольской во всю. Глѣбу тоже это нравилось. Скромная была карачевая полукровка с ютличным ходом, выѣзжал ее сам отец и поручая в Калугу Петькѣ, сказал: «Если ты, анаема, приучишь ее сбиваться, я тебѣ ноги пови-дергаю». Петька с дѣтских лѣтъ знал отца, почитал его и боялся, да и сам любил ѣзду, так что завѣтъ хранил: Скромная, по своему благородному ходу, без срывов и скандальнаго скака, рѣзко выдѣлялась среди лошадей калужских лихачей — запаленных, задерганных, часто с больными ногами.

Петька трогал ее осторожно, не волнуя возжами. Скромная брала легко, что-то от балерины было в ея пружинистых, сухих ногах. Но скоро начинала разгораться, надавать: частію игра молодых ея сил, в особенности-же возбуждало, если впереди она видѣла лошадь. Тут у ней и у Петьки совпадали желанія, ни он, ни она не выносили, чтобы ктонибудь шел быстрѣе. И когда остро-морозный воздух жарче начинал жечь щеки Глѣба, а в передок саней как картечью садило из под копыт Скромной, значит появился противник — с ним надо сразиться. Иногда это была раскормленная пара в дышло купца Терехина с такой-же раскормленной купчихой в санях. Тут побѣда давалась легко. Оголтѣлый лихач на кровной, но испорченной лошади пытался сопротивляться — напрасно (один лишь Карга, старый владѣлец цѣлаго заведенія извозчицкаго, ѣздившій еще и сам, обгонял иногда Петьку и невозмутимостью своею приводил его в ярость).

Глѣб любил эти бѣга. Дух захватывало. Перед глазами, из за Петькиной спины мелькал широкій и

блестящій зад Скромной. Непрерывный пулемет бил в передок. Петька то подбирая Скромную на возжах, «посылая» ее, то на ухабах, как наѣздник пред препятствіем совсѣм выпускал вольно и санки легко бухали, вздымая снѣжно-серебряную пыль — дальше неслись обдавая Петьку и Глѣба снѣжно-льдисто-игольчатой вьюгой. Как это Петькѣ глаза не залѣпит? Но он с козел весь устремляется вперед, особенно когда голова Скромной поровняется с вражескими санями. Дома вокруг летят, но сосѣднія сани недвижны, одновременно тѣ и другія ухают по ухабам и продолжают стоять... — а потом медленно проплывают мимо, назад, тоже в облакѣ пыли серебряной, вот и лошадиное бульканье брюхом совсѣм рядом, тяжелый храп, но и это отходит, обогнали.

Так обычно удалялась назад мимо Глѣба ентовая шуба, мѣховая шапка, очки залѣпленные, или дамскіе мѣха.

Но особенным триумфом Петьки оказался случай перед Рождеством, когда сразу-же за гимназіей погнался он по Никольской за парными санями с сицею сѣткой. Рысаки шли рѣзво, хотя и солидно. Толстый кучер мало был расположен к состязанію. Все-же Скромной пришлось поработать прежде чѣм перед Глѣбом, как в замедленном синема, поползли слѣва сани и в них человек в форменной фуражкѣ, с бакенбардами над бобрами шинели. Бог ты мой, губернатор! Глѣб вытянулся и поклонился. Губернатор не проявил признаков жизни. Вороные рысаки замедлили ход и совсѣм отстали.

Когда Скромная, перейдя на шаг, сворачивала на Спасо-Жировку, Петька обернул к Глѣбу обледевлѣное, весело-возбужденное лицо.

— Важно наша кобыла ходить!

Глѣб с притворным равнодушіем спросил:

— Знаешь, кто это такой был?

— А откуда мнѣ знать? Лошади богатых, только и всего.

— Он к нам на завод пріѣзжал, когда я был еще маленькій. Я с ним знаком. Это губернатор.

Петька ахнул. Губернатор! А можно его обогнать? — Он спросил, уже болѣе серьезно:

— Нам за это ничего не будет?

Глѣб пожал «почти офицерскими» плечами гимназическаго своего пальто с таким видом, что на дурацкій вопрос и отвѣчать нечего.

Лиза и Соня Собачка были уже дома — их уроки кончились нынче раньше. Обѣдали вмѣстѣ, под предѣдательством матери, в свѣтлой столовой с видом на Оку. Глѣб рассказал, как они с Петькой обогнали губернатора.

Соня-Собачка подмигнула Лизѣ и спросила, без лукавства в веселом глазѣ:

— Глѣб, Глѣб, этот губернатор, кажется, твой пріятель?

Сонѣ шел уже семнадцатый год, она становилась плотной и милой дѣвушкой с наливными щеками, такая-же пышка, как была в дѣтствѣ. И так-же, как и в дѣтствѣ (да и Лиза тоже), любила Глѣба дразнить.

— Конечно, я его знаю, он у нас цѣлый день провел.

— Ты-то его знаешь, сказала Лиза, а он тебя навѣрно принялъ за полицмейстера. Когда Глѣб садится в санки, подымает воротник, на шинели пуговицы блестят, плечи кверху...

Она подняла плечи, изобразила надутое лицо.

— Глѣб, Глѣб, серьезно сказала Собачка: ты знаешь, когда полицмейстер встрѣчает губернатора, он должен встать в санях — Собачка поднялась из за стола, приложила ладонь ребром к виску — и вот так, знаешь, скакать, скакать впереди, спиной к кучеру, лицом к губернатору... Вот, как я к тетѣ... она губернатор, а ты кучер.

Глѣб обозлился.

— Да какой я полицмейстер! Что вы там болтаете!

Лиза и Соня захохотали хором, повалились на стол.

— Полицмейстер! Полицмейстер!

Мать вмѣшалась.

— Ну какія вы глупости говорите, просто стыдно слушать. А уже взрослые дѣвушки.

И чтобы вызволить сыночку, стала спрашивать его о гимназїи, уроках.

Глѣб отвѣчал хмуро. Был и вообще обидчив, а тут еще Лиза коснулась неприятнаго: губернатор-то всетаки не отвѣтил на его привѣтствїе.

Послѣ обѣда дѣвицы отправились в свою комнату, все что-то хохотали. Уроков у них было меньше, чѣм у Глѣба. Сегодня онѣ собирались на каток.

Глѣб тоже направился к себѣ, в нѣкотором раздраженїи. Мысленно обозвал их дурами. «Полицмейстер! Что тут остроумнаго? Из за всякой чепухи хохочут!..»

Но по настоящему сердиться не мог. Слишком все было для него и в Лизѣ и в Собачкѣ свое, привычное и родное.

На столѣ лежали тетрадки, книги, учебники.

Стояла чернильница. Но не было ни рисунков, ни акварельных красок. Глѣб довольно равнодушно занялся своими гимназическими дѣлами, позабыл о «дѣвчонках» за алгеброй и греческим. Он работал спокойно, без увлеченія. Должен учиться, и учится. Это не так легко, труднѣе, чѣм в прошлом году, но идет ровно, налаженно. Ни на какого полицмейстера, даже в нарядной своей шинели, он непохож. Но и на художника, мечтателя уединеннаго тоже. Ему здѣсь неплохо, но как-то сѣро, бездѣлтно. Идут дни за днями, ничего не дают.

Стало смеркаться. Не хотѣлось зажигать лампу, Глѣб бросил занятія, придвинул к окну стул, облокотившись о подоконник стал разсматривать улицу. Двухэтажный дом на той сторонѣ всегда тянул его к себѣ, чувством нѣсколько странным. Тишина, сумрачность его, безбородые обитатели... Глѣб слышал от Петьки, что живут там скопцы. Как деревенскій житель он многое знал о животных, но людей *таких* видѣл впервые. Они вызывали в нем таинственное ощущеніе. И жуткость.

В сосѣдней комнатѣ затопили печь. Потянуло дымком растопок. Огонь пріятно загудѣл. Над Спасо-Жировкой обозначилась зимняя луна — свѣтъ ея смѣшивался еще с уходящим закатом и давал слабо-златистыя, слегка зеленѣющія тѣни по улицѣ. Ворота на той сторонѣ растворились безшумно, тяжеловѣсная лошадь вывезла санки, гдѣ сидѣли два странных существа. Ворота закрылись, безбородый кучер взял направо в гору, медленно повез своих желтых, безбородых господ.

Призрачно, как и всегда, было для Глѣба их появленіе, что-то сосало сердце, но продолжалось это

недолго — не мгновение-ли? И опять тишина, начинающій млѣть в свѣтѣ лунном дом скопцов, маленькія вдавленные окна, амбары в глубинѣ, а там пенька, жмыхи.

Вышла Соня-Собачка — в шапочкѣ, мѣховой кофточкѣ, с коньками подмышкой.

— Глѣб, Глѣб, ты тут в одиночествѣ меринков наших разсматриваешь? Плюнь на них, фу, дрянь...

Соня подошла к нему сзади, обняла, поцѣловала в затылок.

— Мы с Лизой идем на каток, а ты на меня не сердись, это вѣдь мы с Лизой так зря болтаем... Ты не подумай.

Глѣб повернул к ней лицо, в нем не было ничего сердитаго, скорѣй задумчивое.

— Важный мой, такой важный... всегда один, со своими книжками... — Ну, не сердись, говорила Собачка и теплыми своими губами поцѣловала его в лоб, и в щеки, в губы.

Глѣб засмѣялся.

— Я ничего и не сержусь.

Да, Собачка мало была похожа на сосѣдей. Теплотой, силой, женской пріязнью и самой жизнью от нея пахло. И шапочка, полныя наливныя щеки, коньки подмышкой, муфта, все было одно.

— То-то вот и не сержусь... Приходи лучше к нам на каток, чѣм тут одному сидѣть.

— Да у меня уроки...

— Ну, как знаешь.

И опять поцѣловав его, шепнув, смѣясь: «не удостоишь!» выбѣжала.

А Глѣб встал, потянулся. Не то, чтобы «не удостоивал», на каток, правда, сейчас не хотѣлось. Но

не хотѣлось и зажигать лампу, готовить уроки. Он прошел в гостиную, оттуда в столовую. Никого. Мать, очевидно, тоже ушла. Он совсѣм один. Глѣбу это понравилось. Он нѣсколько раз молча прошелся по комнатам, взад-вперед. Вдалекѣ снѣжной лентой виднѣлась Ока, в зеленоватом сіяніи луны. Над Окой щеткою лѣса по взгорью, над лѣсами крупная звѣзда. Там, в той-же сторонѣ — но как далеко! — и отец, тоже в лѣсах, на заводах, в Илевѣ, тоже что-то устраивает.

Глѣб лег в гостиной на диван пестраго турецкаго узора. Справа вѣяло теплым золотом печки — она разгоралась, дверца ея открыта. А перед глазами, сквозь оконное стекло, видѣл он кусок неба, звѣзду, медленно протекавшую к переплету рамы.

Глѣб нѣсколько был взволнован, возбужден. И уже этот лунный вечер не походил на обычные его будни. Лежа он думал, все думал, воображеніе играло. Что-же с ним будет дальше? Что за жизнь предстоит?

Вот отец инженер, Соня-Собачка скоро кончит гимназію и в Москву на фельдшерскіе, Лиза в Консерваторію. А он? Так вот все и читать Цезаря, зубрить неправильные глаголы? Он ничего не видѣл для себя впереди и это его страшило. Губернатор управляет, дядюшка Красавец лѣчат, отец возится со своими домнами... — единственно, что Глѣбу нравилось — рисовать, но развѣ это дѣло? А вѣдь и он станет взрослым, надо-же дѣлать что нибудь? И вообще, какой он будет взрослый? Женится... — что такое жена? Это не так еще его занимало, но главное, что такое он сам, с бородой, усами, когда ему будет тридцать лѣтъ? Глѣбу именно

так представлялось, как совѣм не бывает: в сорок лѣтъ он старик, счастья нѣтъ, он гдѣ-то безвѣстно и одиноко служит.... — Но все выходило слишком уж туманно.

Печь сильно прогорѣла. Дрова обратились в истлѣвшую златистую ткань, объятую легкой вязью пламени, голубоватых ядовитых вспышек — все это медленно, мелодически гудѣло.

Глѣб повернулся на бок, глядѣл на угасающій огонь. гдѣ болѣе и больше появлялось краснаго рдѣнія углей и синяго над ними, будто колдовскаго вѣянья.

Будущее не открывалось. Но оттѣнок печали лежал на нем.



В будущее не проникал не только взор гимназиста Глѣба, но ничего не знали о нем и люди старше его. Все казалось таким-же в новом царствованіи, как и в прежнем. Министры и чиновники вполне могли считать себя правыми — Государство Россійское медленно катилось все по тѣм-же рельсам, будто тяжело-груженный всяким добром поѣзд. И не только государство, но и общество и вся жизнь. По заведенному жил и город Калуга. Правда, к новому году смѣнили губернатора. Прислали новаго. Новый был совершенно такой-же, как старый, только княжескаго рода, тѣлом худѣе, юстрѣе и суше профилем. Он так-же катал на рысаках, но имѣл болѣе военный вид. На улицѣ гимназисты тоже должны были ему кланяться.

Так-же жил и архіерей на Подворьѣ своем, не-

далеко от Глѣба. Ѣздил в каретѣ в Собор на службы, принимал сельских батюшек, подписывал консисторскія бумаги, посѣщал Семинарію, а иногда и глѣбову гимназію. В гимназіи опасался его лишь о. Остроумов. Архіерей был человекъ благодушный, еще нестарый, от него пахло сладковато-ладанным, голубые его глаза часто увлажнялись. Рука пухлая и мучнистая. Он писал и стихи, довольно таки назидательные. Книжечку его произведеній раздавали гимназистам для «духовнаго окормленія». Брали, конечно, всѣ, но никто не читал.

А между тѣм, в одном из стихотвореній Владыка живописно изобразил прошлогоднюю засуху. На населеніе она подѣйствовала так:

«Грустно стало земледѣльцам,
«И богатым всѣм владѣльцам
«Общая печаль была.».

Губернатор и архіерей — это вершины. Ниже их холмы и холмики и равнина — дворяне, купцы, чиновники, мѣщане: тоже жили они обыденно. Служба, дѣла, сплетни, романы, картишки, водочка. Дѣйствовал и театр. Панормов-Сокольскій изображал Уріэля Акосту, играли «Грозу», ставили «Цѣну жизни». По воскресеньям «классическіе» утренники для гимназистов. Пріѣзжал на гастроли полный, бритый Рейзенауэр. Колонный зал Дворянскаго Собранія оглашался бурным роялем. С восхищеніем, относясь почти как к волшебству, слушал Глѣб Бетховенов и Шопенов, излетавших из под его рук.

Красавец так-же все летал на лихачах в своих енотах, намокал послѣ винта у Терехиных или у

вице-губернатора, сидѣл в первом ряду театра с видом графа Потоцкаго или князя Радзивилла, бывал на маскарадах, заводя интрижку с недорогой маской.

Заѣзжал и на Спасо-Жировку. В свѣтлой столовой пил с матерью чай с блюдечка, дуя на него, сильно выпячивая губы — а лоб морщил многозначительно. Тоненькія его ножки были в тѣх-же лакированных ботинках.

— Дорогуша, обращался к матери: мнѣ нравится здѣсь у вас, на этой, как ты называешь...? Спасс-на-Жироннь... Улица солидная, тут у меня есть хорошіе пациенты, поближе к Никольской, нѣкіе Кожемякины. У них мучной лабаз... Квартира у вас просторная. Как всегда у тебя, душечка, образцовый порядок... Что-же, барышни подростают, юноша учится, все отлично... — об одном жалѣю: дядя Коля далеко, мы бы с ним тут у Кулона нравственно встряхнулись.

И поцѣловавъ матери на прощанье руку, Красавец катил далѣе, по медицинским, выпивательным или любовным дѣлам.

Красавец тоже вполне был прав: и тут, в глѣбовой семьѣ, под началом матери, все шло естественно и обычно, устойчиво и благополучно.

Одно стала замѣчать за послѣднее время мать: Глѣб переутомляется. Слишком много работы, кроме латыни и всего иного донимает еще греческій, над которым столько надо учиться.

Соня Собачка тоже его жалѣла.

— Ну на что тебѣ всѣ эти глаголы? Что ты там все зубришь? Вѣдь никто на этом языкѣ теперь не говорит?

— «Апетметесан тас кефалас», — отвѣчал Глѣб.

— Вишительный отношенія. «Апетметесан» — стралательный залог от «апотемно» — обрубаю. «Были обрублены по отношенію к своим головам».

— Как? Как? «Обрублены по отношенію...»

— У нас так требуют. Чтобы было точно.

— Глѣб, Глѣб, эти твои греки были ужасные дураки. Брось, поѣдем лучше кататься. И-и-го-го!

Собачка изображала коня, ржала, рыла копытом в нетерпѣннй землю. Глѣб, хоть и порядочный уже гимназист, но по дѣтской привычкѣ увѣренно вспрыгивал на могучую спину Сони, она галопом неслась вокруг всей квартиры, снова ржала, иногда брыкалась и пыталась сбросить сѣдока — чаще, впрочем, дѣлала это вблизи дивана, куда, в концѣ концов, падала и сама. Глѣбу возня с Собачкой нравилась гораздо больше, чѣм греческіе уроки, но и вообще ему приходило иногда в голову — нужно-ли все это? Усилія, чтобы одолѣть неправильный глагол «хистэми», или еще что другое? А вѣдь так — до самаго конца гимназіи, и все труднѣе. Он хуже стал учиться. Что дѣлать дальше, как найти смысл в том, что казалось бессмысленным, не знал. Мать во многом ему сочувствовала. Для чего нужно «хистэми» так-же не могла бы объяснить, как и Глѣб. Она написала отцу.

Отец всегда считал, что ученіе дѣло пустяшное. А тѣм болѣе древніе языки... Глѣбу он посочувствовал и прибавил, что может быть и напрасно не отдали его в свое время в реальное — отец видѣл в Глѣбѣ будущаго инженера, продолжателя своего дѣла. К высшим-же техническим заведеніям лучше готовит реальное, чѣм гимназія.

Всетаки, вряд-ли что измѣнилось бы, если-б не случай.

Послѣ Рождества, собираясь раз утром в гимназію, Глѣб вдруг сѣлъ на пестрый турецкій диван, сказал полу-задумчиво, полу-смущенно:

— Кажется, я захворал.

И не ошибся. Скромная стояла уже у подъѣзда — морозным утром, при розовѣвшем солнцѣ и замерзших узорах на окнах Петька помчал в гимназію Лизу и Соню-Собачку. Глѣб остался дома. Позвали Красавца.

Красавецъ явился во второй половинѣ дня, в передней величественно заправил назад рѣдкіе волосы, сбившіеся под шапкой — и любовался собою в зеркалѣ сколько хотѣлъ. Потом, морщась и загадочно выпячивая вперед губы, с видом полной торжественности прослѣдовал в комнату Глѣба.

Тщательно разсматривал ему горло, прижимая язык ложечкой, с видом Захарына. Кончилось-же ипекекуаном и смазываніем ляписом.

Мягкая кисточка на длинной проволоцѣ с двумя на концѣ кольцами, куда продѣты материнскіе пальцы, кисточка, напоенная страшной гадостью с металлически-кислым, острым вкусом, прекрасные, обезпокоенные глаза матери, устремленные в горло сыночки, припущенная штора, похудѣвшій мальчик с большою головой, на стулѣ у кровати недопитый стакан чаю с лимоном и красным вином, двѣтри склянки — это и есть болѣзнь русскаго гимназиста девяностых годов.

Мать добросовѣстно пошла Глѣба ипекекуаном, мазала ляписом, мѣрила температуру. Палеты все держались. Жар не падал. Красавецъ пріѣзжал, смотрѣлъ, хмурился.

— Душечка, — заявил, наконец, матери, — ничего опасного, степень умѣренная, но юноша явно дифтеритизирует.

Что этим хотѣл сказать Красавец — его дѣло. Вышло эффектно. Это ему и правилось. Просмотрѣли он дифтерит вначалѣ, или свалил на дифтерит другое — неизвѣстно. Может быть, никакого дифтерита у Глѣба и не было, но «что-то» крѣпко зашло в нем, не бурлило, медленно шло.

То он лежал, то вставал, то опять ложился, и это тянулось, тянулось... К счастью, надоѣло даже и матери мазать ляписом ему горло, благодаря чему не было оно сожжено окончательно. Время, однако, шло, накоплялось, учиться-же он не мог. Вначалѣ рыженькій Докин приносил ему на бумажкѣ уроки, конфузливо покашливая в передней, когда Соня Собачка к нему выходила. Глѣб пытался не отставать, но сил не хватало. Да и сам Докин рѣже стал появляться.

Прошел мѣсяц. Глѣб с ужасом сообразил, что совсѣм отстал от класса. Кончилась четверть, на горизонтѣ, уже недалеком, экзамены, а он виѣ игры и не видно еще, когда выздоровѣет. Глѣб пал духом. Оставаться на второй год, ему, шедшему одним из первых... Он совсѣм стал хирѣть — слабый, печальный, вовсе уж не походил на друга тубернатора.

Мать опять написала отцу. И вот этой весной, слѣдствіем глѣбовой болѣзни явилось рѣшеніе: предложить ему бросить зимою ученіе вовсе, весну провести у отца, оправиться, отдохнуть, а осенью перейти по экзамену в слѣдующій класс реального училища.

Глѣбу это понравилось. Весна гдѣ-то в дальних

краях, с отцом, в лесах! Вновь охота и одиночество. А там? Ну, по крайности не будет больше «хистэми» и «апетметесан тас ксфалас».

Перед Пасхой мать подала прошение об увольнении его из гимназии: «по болѣзни». А в реальном условились насчет осенних экзаменов.

II.

Глѣбъ с матерью выѣхали из Калуги на Страстной. Путь предстоял через Москву и Рязань в Тамбовскую, Нижегородскую губерніи. Глѣбу казалось, что ѣдут на край свѣта. Он чувствовал себя вродѣ Пржевальскаго пред Средней Азіей.

В Москвѣ на извозчикѣ с Курскаго вокзала Глѣбъ жался к матери, вся эта пестрота, шум, грязноватая толчея были ему чужды. Лишь в купѣ поѣзда Казанской дороги, расположившись удобно, среди знакомых вещей, почувствовал он себя покойно, крѣпко: ѣдут так ѣдут, за матерью не пропадешь.

И в милой, сѣренькой веснѣ російской, с голыми еще березками, запахами прѣли в лѣсочках, желтыми лютиками у осин, похудѣвшими за зиму коровами на первом пастбищѣ — медленно катили они в невѣдомые края Родины.

Глѣбъ не знал еще, что станція Фаустово знаменита пирожками, что Коломна город древній, примѣчательный, и как говорят, основана выходцем из Италіи, принадлежавшим к славному роду Колонна. О Рязани слышал. С ранних лѣтъ связывалось у него что-то здѣсь с татарами, страшными набѣгами и разореніями. Куликовская битва не так далеко отсюда и происходила — с картинки навсег-

да остались в памяти русскіе витязи в шлемах, с мечами, стягом, стѣной бьющіеся с узкоглазою татарвой — Глѣб любил Куликовскую битву, побѣду Россіи.

Но теперь, когда в тихом вѣтеркѣ увидал эту Рязань, на берегу широко разлившейся Оки — поѣзд медленно шел по насыпи у воды — ничего ни грознаго, ни воинственнаго не ощутил: мирный русскій город, благовѣст над безкрайними лугами (на них-то и возстанет в іюнѣ «величавое войско стогов»). Глѣбу пріятно было увидѣть Оку, с дѣтства свою — в полноводной весенней славѣ, сребристую и покойную, под блѣдно-перламутровым небом несущую влагу Россіи в Волгу и Каспій.

В Рязани долго на вокзалѣ стояли — пили с матерью кофе. Глѣб знал уже теперь, что такое вокзалы. Они не пугали его, как раньше. Но всетаки возбуждали. («Мама, а поѣзд без нас не уйдет?»)

Поѣзд не обманул их и тронулся по всѣм правилам, со звонками и неторопливостью російской желѣзной дороги. Глѣб стоял у окна. Началось созерцаніе чистое. В подпрыгиваніи вагона протекали поля, луга, дали рязанскія. Станціи были все новыя — как и сама дорога, за Рязанью не так давно открытая: дальнюю Казань, три столѣтія назад завоеванную, пристегивала теперь к себѣ Имперія связью прочной.

Чѣм далѣе шел поѣзд, тѣм одиноче чувствовал себя Глѣб. Пустыннѣе и диче казалась ему страна, невеселы безконечные горизонты.

Так, к вечеру, добрались они до станціи. Оттуда ѣхать уже на лошадях, болѣе ста верст.

Тяжеловѣсный тарантас, большія лошади, не-

знакомый кучер. Завтра Пасха, надо сѣшить. Надѣли дорожныя свиты, усѣлись и тронулись. Ровныя поля тамбовскія, чуть с прозеленью, в ложбинах сыро, а за тарантасом пыль. Безмолвная эта окрестность казалась сумрачной. Села рѣдки, огромны. Одно попало мордовское. Странный край. Нѣтъ, под Калугою лучше.

Темно-красно-пепельный закат угасал. Издали потянуло влагой большой рѣки. Дорога еще сѣрѣла среди полей.

Ночь спускалась. В скиѣском полѣ, близ разлившейся Мокши бродили фигуры. Тут и повозки, лошади. Кусты темнѣли. Кучер слѣз. долго разговаривал с мужиками, потом вернулся.

— Разлив нынѣ, барыня. Луга на многія версты затоплены. Парома подождать придется, на веслах пойдем. Народу уж подобралось порядочно, как еще умѣстимся.

Парома ждали долго. Глѣб безпокойно, с тяжким чувством всматривался в темноту ночи. Ну и заѣхали!

Наконец, паром прибыл — это можно было опредѣлить по вознѣ, гуторенію мужиков вправо в потемках, около кустиков. Плескалась вода, гремѣли вынимаемыя весла.

Тройка давала право на уваженіе. И мать, и Глѣба уважали за лошадей, «директорских», с Илѣвскаго завода. Тарантас пропустили на паром первым — лошади боязливо ступали по бревнышкам, танцовавшим под копытами. Тарантас прыгал, вода гдѣ-то рядом похлупывала... — и вдруг тройка увѣренно взмахнула на паром — лошадиныя морды остановились на дальнем концѣ его, у самых черил. А дальше

двинулись повозки мордвы, татар, да и наша тамбовская Русь — пѣшіе мужички и бабы, торопившіеся к заутренѣ.

Толкались и охали, руганулись, понятно, сколько хотѣли. Но всѣ устроились. И послѣ должнаго гвалта плаваніе началось. Именно плаваніе. Ибо этот паром — скорѣе Ноев ковчег чѣм паромы на канатѣ, прославленные Толстыми и Чеховыми.

Вначалѣ шли тихо на веслах. Цѣплялись кое гдѣ за потопленные кусты, потом выбрались на простор, но попали в теченіе, на быстрину, паром понесло вправо.

Лошадей выпрягли, онѣ стояли отдѣльно. Глѣб же с матерью так и остались в тарантасѣ, перед ними торчали задранная кверху оглобли. Дальше перила, вода, над оглоблями небо, по которому чертят они свой путь, задѣвая за звѣзды. Звѣзд было много. Вся чернота воды вокруг дробилась золотыми блестками и змѣйками.

Вот сбоку куст, весла шуршат о лозняк, гребцы ругаются. И плывет над ними звѣздный атлас.

Глѣб не мог бы сказать, что бодро себя чувствует. Тьма, разлив, куда-то плывут... — он просто робѣл, сердце ныло. Слабый звѣздный свѣтъ давал видѣть вблизи материнскіе прекрасные глаза, тонкій профиль. Мать сидѣла в небольшой своей шляпѣ со страусовым пером на подушках тарантаса точно в ложѣ. Глѣб, хоть и считал себя мужчиной и охотником и не сознался-бы, что трусит, именно сейчас трусил. Рядом плечо матери. С нею не пропадешь, а всетаки... «страшноовато».

— Скоро пріѣдем?

Мать могла-бы вполне улыбнуться. Но тоном всезнающим тотчас отвѣтила:

— Скоро, сыночка.

Мать с ранних дѣтских лѣтъ дѣйствовала на него неодолимо. И сейчас, если мать, пусть и бессмысленно, сказала «скоро», значит так и будет.

— На стремя вышли, — сказал кто-то в темнотѣ.

— Дойдем-ли куды... — бормотал бабій голос.

Ковчег быстро несло вбок. Гребцы вновь ругались, надо было налегать, а то теченіем снесет далеко.

Но стремя оказалось не таким широким. Паром ткнулся въ глыбу, описал странный полукруг — оглобли шпрочертили по звѣздам удивительную кривую — и вошел вновь в спокойныя воды.

Лошади иногда потопатывали, иногда, скаля зубы, ржали — сердились друг на друга, хватали за гривы. Бабы вздыхали. Вода хлюпала. Ночь все чернѣй, чернѣй... Гдѣ Арабат? Никто ничего не знал.

Разныя звѣзды, созвѣздія приходили в прямоугольник оглобель и уходили. Но вот в этом прямоугольничкѣ, ниже звѣзд, выше воды, появился свѣтъ. Огоньки зажигались, золотистые и далекіе — там, на берегу.

В темнотѣ выступил нѣжно-золотистый, в свѣтлом дымѣ силуэт церкви.

На ковчегѣ задвигались. Весла перестали плескать.

— Преображенское!

— Ишь куды занесло!

— Куды, куды... в этукую темь не туды еще заплывешь. Вертать надо.

Пошумѣли, поспорили, кормчій что то доказывал

и паром, правда, измѣнилъ направленіе: взяли палѣво под углом, почти против теченія, чтобы навестать унесенное стремнемъ.

Шли совсѣмъ медленно, будто стояли на мѣстѣ. Но над водой, на пригоркѣ, все яснѣе видѣлась церковь. Благовѣст доносился. Мать наклонилась над Глѣбомъ.

— Христосъ воскресе!

И поцѣловала.

— Воистину воскресе, — отвѣтилъ Глѣбъ.

Онъ не очень преданъ былъ всему этому, да и мать тоже. Но ихъ несла въ себѣ жизнь русская, сама тогдашняя Россія, какъ безкрайная вода паромъ. Глѣбъ отвѣтилъ «воистину» безъ мистическаго подъема, но все-таки зналъ, что отвѣтить такъ надо, всѣ отвѣчаютъ, онъ с дѣтства слышалъ это — съ нимъ связано нѣчто торжественное и радостное. А сейчасъ почувствовалъ, что все въ порядкѣ, берегъ со свѣтящейся церковью приближался.

Онъ ощутилъ усталость, положилъ голову на плечо матери.

— Подремли, сыночка. Утомился.

Онъ могъ устать, она — нѣтъ. Онъ могъ дремать, склоняя голову ей на плечо, ея-же плечо для того и создано, чтобы къ нему склоняться.

Мать сидѣла ровная и покойная. Паромъ медленно плылъ къ берегу по совсѣмъ тихому мѣсту, раздвигая кусты. Звѣзды текли. И ужъ нельзя было сбиться — съ суши сіяла церковь.

**
*

Ѣхали ночь, Ѣхали день. Гдѣ то перепрягали — отецъ выслалъ подставы — гдѣ-то наскоро подзакусы-

вали. Из Тамбовской губерніи передвигались в Нижегородскую. В рано занявшемся бѣломъ днѣ, при порывахъ вѣтра, в жесткомъ тарантасѣ катили по ранне-пустыннымъ селамъ, потомъ села стали оживленнѣе, попадались парни, дѣвки расфранченныя. Качались на качеляхъ, катали по желобкамъ яйца, пѣли, христовались. Пьяные мужики разгуливали по слободамъ. Для Глѣба-же весь этотъ день слился во что-то пестрое и смутное, толчки тарантаса, слипающіяся вѣки, острый свѣтъ, вѣтеръ и рядомъ плечо матери, с котораго мало когда и съѣзжала его голова. В промежутки между дремотой онъ стекляннымъ взоромъ глядѣлъ на неправившіяся ему поля, безъ конца вдаль шедшія.

Къ вечеру началась сторона лѣсная: ельники, сосонники, можжевельникъ, комары. Ни души!

Нѣжно-печальная заря млѣла за болотомъ и чуть распускавшимися березами, когда мелькнули впереди огоньки. Кучеръ подбодрился — и по гати, по тряскимъ бревнышкамъ поднялъ тройку на рысь — мать с Глѣбомъ подпрыгивали на подушкѣ: все равно, слава Богу — Илѣв.

А черезъ нѣсколько минутъ катили уже слободою. Слѣва парк, справа непужно-сладостное, розовое зеркало озера. Тарантасъ подкатилъ къ огромному дому, лакей выскочилъ изъ освѣщенныхъ дверей. За нимъ отецъ появился — все такой-же, в сѣренькомъ пиджакѣ, невысокій и плотный, с рыжеватой бородой, в высокихъ полу-охотничьихъ сапогахъ.

У Глѣба былъ нѣсколько окостенѣлый видъ. Улыбаясь, поцѣловалъ онъ отца в знакомые табачные усы, будто и ласково, но отсутствовалъ.

— Сыночка усталъ, — сказала мать. — Тарантасъ тряскій, дороги у васъ здѣсь нехорошія.

Отец сдѣлал комически-извиняющуюся гримасу:
— Виноват, виноват!

Да и правда, по тону матери можно было подумать, что кого-то она укоряет за длину разстояній, глушь, тряску тарантаса. Вѣдь сыночка устал, подумать только!

— А гимназіаст наш отоспится, отдохнет, — весело говорил отец. — Ну, идем, вам там наверху комнаты готовы.

И повел узенькой, темноватой лѣстницей. Внизу раздавались голоса, смѣх, стучали посудой.

— Здѣсь в восемь часов обѣдают, — сказал отец, когда поднялись на хоры: — Аркадій Иванович так привык.

Глѣб оглядывался с любопытством. Усталость его прошла. Они оказались на хорах огромной, как ему представилось, залы, обращенной в столовую. Внизу ярко она освѣщена. За столом с куличами и пасхами нѣсколько человек ѣли, разговаривали, хохотали. Цѣфты, поблескиваніе хрусталя, бутылки...

— Этот худой, лысый, в серединѣ и есть Ганешин, Аркадій Иваныч, — вполголоса сказал Глѣбу отец. — Наш хозяин. Завтра я тебя с ним познакомлю. А теперь, — обратился он уже к матери, — велю сюда подать вам ужинать.

Мать тоже взглянула вниз, но без особаго удовольствія: ничего этого она не любила, ни коньяков, ни застольнаго шума, ни карт.

У отца оказалась наверху чуть-ли не цѣлая квартира — комнаты невысокія и не весьма просторныя, но заново и по столичному отдѣланныя. Окна выходили в парк, а двери в корридор, окружавшій хоры. Тут было тихо, снизу шума не доносилось.

Так въѣхал Глѣб еще в одно временное свое пристанище, явно ему чѣм-то уже знакомое, но и всетаки новое, как в таинственном и непрерывном теченіи дней и сам он, теперешній, был уже не совсѣм прежній. Поужинавъ с матерью и отцом, оставшись один в своей комнатѣ, он прежде чѣм лечь отворил окно — темный, горьким ароматом настоенный воздух поплыл к нему. Внизу играли на роялѣ. Ему пріятны были эти звуки. Тот-же Шопен, котораго он знает с ранних лѣтъ.

В вѣтвях южная звезда золотым орденом сіяла. Глѣб взглянул на нее, сладко зѣвнул, затворил окно. «Гимназіаст...» Нѣтъ, он теперь именно ни то ни се, этой странной весной в странном Илѣвѣ просто вольный гражданин — отец опять сострил-бы: «недоросль из дворян».

Глѣб едва раздѣлся, завалился, заснул безпробудно-отрочески

**
*

Утренній кофе пили с матерью наверху. Выспавшись, Глѣб был в бодром настроеніи. Все хотѣлось увидѣть, узнать здѣсь, но так, чтобы не подумали, что он очень этим поражен. Стараясь быть спокойным, имѣть вид независимый, расхаживал Глѣб по солнечным нижним комнатам. Зала огромная, и гостиная не мала. Из нея дверь была пріоткрыта в кабинет Ганешина — там виднѣлся удивительный кожаный диван, кожаныя кресла, нестораемый шкаф, тянуло духами и слегка сигарой. Глѣб не рѣшился туда войти, хотя никого в домѣ не было. От этой комнаты испытал он ощущеніе незнакомаго и новаго. Отец

сказал вчера, что Ганешин живет в Петербургѣ, здѣсь бываетъ наѣздами. Очевидно, это и есть «петербургское».

В половинѣ перваго зазвонилъ гонгъ. Глѣбъ зналъ, что тотчасъ надо являться. Онъ бродилъ в паркѣ, недалеко отъ дома. Черезъ три минуты былъ уже на террасѣ. В дверяхъ, щурясь отъ солнца, стоялъ с отцомъ невысокій человекъ в свѣтломъ костюмѣ, с голубымъ клѣтчатымъ галстучкомъ. Голова с огромно-широкимъ лбомъ и узкимъ подбородкомъ сразу выдѣлялась в худощавомъ его обликѣ — лицо сходило внизъ клиномъ. Большія челюсти, какъ у Щелкунчика. Лысина почти зеркальная, с вѣнчикомъ мелко-вьющихся полусѣдыхъ волосъ. Насмѣшливые, изящнаго разрѣза черные глаза.

— Это мой сынъ, — сказалъ отецъ, когда Глѣбъ подошелъ. — Видите, какой худющій. Хворалъ долго в Калугѣ. Въмѣсто экзаменовъ пришлось сюда поправляться съ ѣхать.

Ганешинъ улыбнулся, протянулъ Глѣбу руку.

— Отлично. Отдыхайте на доброе здоровье. Мѣсто глухое, для васъ это и хорошо. А? Развлеченій мало? Вамъ нравится? Что?

Глѣбъ вовсе не говорилъ, что «развлеченій мало», вообще ничего еще не успѣлъ сказать...

— Мнѣ очень нравится, — отвѣтилъ робко.

Ганешинъ вынулъ изъ наружнаго кармана легенькій платочекъ, обмахнулъ лобъ. Нѣчто пренебрежительное мелькнуло в его лицѣ.

— Нравиться здѣсь нечему, дыра... — онъ засмѣялся. — Но — жить можно. А? Ну, идемъ.

И полуобнявъ Глѣба, со смѣсью развязности и ласковой снисходительности, повелъ его впередъ.

Что-то смущало в немъ Глѣба. Все-же Ганешинъ ока-

зался нестрашен, даже довольно привѣтлив. Не называл его «юноша», это тоже было приятно.

В столовой Глѣб познакомился еще с новыми людьми: один из них был инженер Калачев, молодой, нѣсколько широкозадый русачек с путаной бороденкой, в высоких сапогах, небрежно разстегнутой кожаной тужуркѣ. Худенькая темноглазая его жена разсѣянно подала руку. Особо обратил Глѣб вниманіе на старика с большой опухолью на шеѣ, в трясноватом сюртукѣ, с нечесанной сѣдою бородой, легкими волосами, сквозь которые свѣтила розовѣющая лысина. Забравшись в дальній конец стола взялся старик за ѣду основательно. Ъл неопрятно.

Ганешин не обращал на Глѣба вниманія—болтал с сидѣвшею с ним Калачевой и с отцом. Отец был весел, пил водку, но не говорил как прежде «чи-ик», чокаясь рюмкой. Ганешину лакей наливал красное вино, Глѣб замѣтил на бутылкѣ бѣлый ярлык с надписью: St. Estephe. Это произвело на него нѣкоторое впечатлѣніе.

Собственный-же глѣбов сосѣд, инженер Калачев, вовсе его не смущал. Калачев сидѣл небрежно, целовко тянулся короткой рукой к отцу за водкой, рѣзко опрокидывал рюмку в горло, показывая безпомощный кадык под довольно бессмысленной, рыжеватым вѣером разлетающейся бородой. Когда Ганешин рассказал старый анекдот, весело захохотал.

— А? Здорово? — обратился он к Глѣбу. — Аркадій Иванович у нас ко-омик.

Отец не мог, конечно, удержаться. Тоже рассказал — Глѣб давно знал эту исторію, про какого то нѣмца, учителя гимназіи во времена отца. Нѣмец так объяснял залогі:

— Волк ъл коза — дѣйствительный. Коза ъл волк — страдательный.

Тут Калачев загоготал столь визгливо, точно его щекотали подмышками. Что-то женское было в нем в эту минуту — Глѣб при всей своей серьезности тоже засмѣялся. Лишь мать и не улыбулась. Да старик с опухолью занимался потрохами так основательно, что ему было не до смѣха.

Калачев окончательно впал в доброе настроеніе.

— Вам необходимо отдохнуть, разумѣется, — говорил Глѣбу: — па-анима-ю... Чорт бы их побрал, всѣ эти гимназій! Помню. Ненавидѣл. Вы переходите в реальное? Отлично. Ближе к жизни.

Он вдруг нагнулся, зашентал.

— Аркадій Иванович милѣйшій человек, вы увидите... и музыкант. Сам даже сочиняет. С Людмилочкой — это моя жена — в четыре руки играет... А вечером карты... Ну, вы, разумѣется, молоды, вам не годится... Вон у нас главный картежник — Финк.

И мигнул в сторону старика с опухолью.

— Это, я вам скажу, ти-ип! Сейчас потроха ѣст и косточки собирает в бумажку, для своего пса. Пес называется Наполеон, под столом, у его ног — ни на шаг не отпускает. На охоту так на охоту, домой так домой. Пес за ним всюду.

Подали кофе, к нему ликеры. Калачев налил себѣ и Глѣбу по рюмкѣ бенедиктину. Мать безпокойно оглянулась.

— Смотри, сыночка, крѣпкій...

— Ничего, пустяки!

Калачев вкусно прихлебывал, становился все веселѣе. Глѣбу ликер тоже понравился — и душистый, и мягкій, на непривычную голову дѣйствовало пріят-

но. Да будто-бы и подымало в собственном мнѣніи. Вот он взрослый. ѣст бенедиктин как Ганешин. разговаривает с настоящим инженером...

Инженер тоже был доволен, что нашел слушателя. И Глѣб узнал во время первого этого завтрака многое: Финк ссыльный поляк, давно здѣсь живущій, вродѣ лѣсничаго. Домик его уединенный, в паркѣ — он да пѣс. Когда прѣвзжает сюда Аркадій Иваныч, все оживает, бывают гости, пикники, но вообще Илев скучища и он, Калачев, очень рад, что появились свѣжіе люди, как отец Глѣба — «с ним, по крайней мѣрѣ, не соскучишься». Людмилочка чудная женщина... — и если-бы всѣ не поднялись из-за стола, Глѣб узнал-бы уже обстоятельно, насколько Людмилочка прелестна и как любит ее муж.

Но разговор прервался. Впрочем, и Калачев и Глѣб сразу правильно оцѣнили положеніе: они почти уже друзья, одному есть пред кѣм разглагольствовать, другому льстит, что с ним разговаривают как со взрослым.

В гостиной поставлен был зеленый ломберный стол, лежали мѣлки, двѣ нераспечатанных колоды карт. Свѣтлый весенній день. Инженеры разсаживались для винта, Ганешин с Людмилой ушли в кабинет. Оттуда донеслись аккорды на роялѣ — Ганешин импровизировал. Финк сдавал. Длинноухій лягаш у его ног слегка завыл при первых-же звуках музыки — Финк сердито подтолкнул его ногой.

В балконной двери отец подошел к Глѣбу, ласково его полуобнял.

— Ну, как? Не соскучился еще? Ты, кажется, с Калачевым подружился?

Глѣб был довольно оживлен — ликер подвин-

чивал, сознание, что он среди «больших» и не боится, в изящном шетербургском домѣ, гдѣ и музыка, и вино, и карты... Но он отвѣтил, разумѣется, серьезно, как бы и слегка небрежно:

— Ну, подружился... Просто мы разговорились (ничего нѣтъ удивительнаго, что вот он, Глѣб, бесѣдовал со взрослым инженером как равный).

Отец отправился к карточному столу. Глѣб вышел в сад, а мать поднялась к себѣ навверх.

Мать не совсѣм так настроена была, как отец и сын. Завтрак не доставил ей никакого удовольствія. Не особенно понравилось, что сыночка пил ликер. И этот «распущенный», как она нашла, тон... Подходяще-ли это для сыночки? Вообще, что это за общество? Насчет Калачевой ей показалось, что с хозяином она держится слишком уж вольно, точно «авантюрьска», а он вродѣ «адоратора». Выпивающіе, разглагольствующіе инженеры... Странный старик с собакой.

Войдя к себѣ в комнату, разложив шитье — она починала глѣбову курточку — мать ощутила, что здѣсь она одна, со своим скромным, но нужным дѣлом, это ея міръ, а там внизу другой.

Другой, между тѣм, тоже вел свою линію, не смѣшивался с верхним: Ганшин, поблескивая черными влажными глазами, наигрывал свои фантазіи. Взглядывал на Людмилу. Та куталась в шаль, нервно подбирала под себя на диванѣ ноги, принимала вид загадочно-томный. В гостиной инженеры играли в винт. Финков Наполеон надоѣл подвываніем — его выгнали. Калачев сорил пеплом папиросы в мундштукъ, назначал малые шлемы, пролетал. Когда

Финк вмѣстѣ с ним ремизился, то бурчал и опухоль его сердито колыхалась.

Глѣб ушел бродить к озеру.



Мать всегда о комнибудь безпокоилась — об отцѣ, Глѣбѣ, Лизѣ, о хозяйствѣ, семьѣ. Она много думала, часто вздыхала. Лицо ея с годами получило яркую черту серьезности, почти-что важной горестности. Нерадостно принимала она жизнь.

Так было и в Илѣвѣ. День шел за днем в ея отъединенности от всѣх. Мать завтракала и обѣдала внизу, но не входила в нижній обиход — как инородное тѣло. Она могла быть лишь хозяйкою и главою своего, прочнаго и порядочнаго гнѣзда. Тут-же вообще гнѣзда никакого не было, все «авантиурьерское», скорѣе непорядочное. И мать лишь наблюдала, сверху с хор, за теченіем неодобряемаго бытія.

Она и вообще думала пробыть здѣсь недолго. Но скоро рѣшила еще сократить срок. Как только кончились разливы, пообсохли дороги, она в том-же тарантасѣ, прямая, прохладная, неутомимая, с небольшим страусовым пером на шляпѣ, струившимся в вѣтрах нижегородских, укатила домой. Уѣзжая, нѣжно и крѣпко поцѣловала «сыночку» и наказала отцу не забрасывать его. Как только вполне оправится — домой, в Калугу.

Отец вряд-ли мог выполнить завѣтъ наблюденія. Хотя и жил навсрху рядом с Глѣбом, но постоянно уѣзжал, проводил на сосѣдних заводах по нѣскольким дням, да и в Илѣвѣ очень бывал занят. Так что в огромном этом домѣ Глѣб оказался в одиночествѣ — мог только наблюдать обитателей его.

Ганешин просыпался поздно, пил кофе в постели. Долго, сложно мылся в ванной, потом подавали ему верховую лошадь под англійским сѣдлом, он надѣвал краги, брал хлыстик и в жокейском картузикѣ, курткѣ водружался верхом — с ним ѣдила иногда и Людмила, худенькая и нервная, с безпокойным взглядом карихъ глаз, амазонкою на дамском сѣдлѣ.

За столом он бывал неровен: то мил и любезен с Людмилою, острил, мог безсмысленно хохотать от анекдота, то вдруг раздражался — на кого попало: раз в бѣшенствѣ накинулся на лакея, чуть не ударил его за то, что тот подал теплое бѣлое вино. Глѣб с изумленіем на него смотрѣлъ: дома к такому не привык. Но Ганешин вино все-же выпил, и послѣ обѣда, ликеров, впал в совершенно благодушное настроеніе. Через полчаса, случайно столкнувшись с ним в корридорѣ, Глѣб увидѣлъ, как он похлопывал этого-же лакея по плечу. «Ну, ну, я погорячился» — и вынув из жилетнаго кармана трехрублевку сунул ему в руку. «Покорнѣйше благодарим-с, Аркадій Иванович» — лакей ускользнул, а Ганешин встрѣтился с недоумѣнным взором Глѣба. Мгновенное смущеніе в нем мелькнуло, быстро залитое нервною развязностью.

— Не удивляйтесь, молодой человек... Мы не грѣшники, конечно, но и не святые. А народишко тоже хамоват. Хотите я завтра ему в морду дам? И ничего не произойдет. Десять цѣлковых выложу — он счастлив будет. А за пятнадцать руку поцѣлует. Да? А? Понятно? За деньги все можно.

Глѣб сконфузился, ничего не отвѣтил.

А Ганешин через нѣсколько минут засѣдал за

роялем в кабинетѣ и разыгрывал фантазіи собственнаго сочиненія.

Неизвѣстно, как отнеслись-бы к ним Чайковскій и Римскій-Корсаков, но Глѣбу казалось странным, что тот-же, все тот-же Ганешин извлекает эти звуки.

Во всяком случаѣ этот сухощавый петербургскій человекъ с лысой головой, в вѣнчикѣ кудряво-сѣдоватыхъ волос, с огромной челюстью Щелкунчика, здѣшній хозяин и владыка, не могъ быть Глѣбу товарищ. Людмила и того меньше. Она его совсѣм не замѣчала — у нея свои дѣла и заботы, для Глѣба еще вполне чуждыя. Одному только Калачеву он оказался почти что и нужен. Дружба их с перваго же завтрака установилась. С теченіемъ времени возрасла. Сближало бездѣлье и нѣкая развинченность. В прежней жизни своей Глѣб что-то дѣлал, чѣм-то жил — рисованіем-ли, охотой, ученіем. Здѣсь-же лишь «выздоровливал». Заранѣе такъ былъ настроен, что ничего и не надо дѣлать, да и нечего дѣлать в этомъ чужом, странномъ домѣ. Приходилось убивать время — занятіе неободряющее, но вполне в духѣ Калачева.

Калачев вообще ничѣмъ не занимался. Считалось, что онъ служит. Но именно только считалось. Иногда онъ заходилъ на завод, когда вздумается, какъ бы на прогулкѣ. Раза два водилъ туда Глѣба. Показал разныя литейныя, ремонтныя мастерскія — все это Глѣбъ нелюбилъ — а дальше... чѣмъ наполнять дни? Пока Ганешинъ с Людмилой катались в шарабанѣ, верхомъ или в коляскѣ уѣзжали к отцу на Балыковскій завод, Калачевъ безъ конца сосал мундштукъ, сорил пепломъ, постукивалъ кіемъ на бильярдѣ по шарамъ — объяснялъ Глѣбу, какъ онъ «рѣжетъ желтаго в уголъ», какъ

дѣлается карамболь. Но Глѣбу игра не нравилась. Дѣло кончалось тѣм, что оба залегали послѣ обѣда в гостиной на огромнѣйшем турецком диванѣ. Калачев начиналъ разглагольствовать. Глѣб слушал. Калачев был очень мил, прост, держался с ним по товарищески. В разказах его встрѣчалась и правда.

К Ганешину он относился восторженно. Глѣб узнал теперь, что Ганешин директор правленія, крупный акціонер этих заводов, играет на биржѣ, роскошно живет в Петербургѣ. У него красавица дочь, огромное состояніе.

Капиталов ганешинских Калачев не считал, дочери никогда не видѣл, но искренно был увѣрен, что все именно так и есть. Лежа на диванѣ закладывал ноги в высоких сапогах на спинку стула, и ероша рыжеватые волосы на головѣ, стряхивая пепел куда придется, ораторствовал.

— Аркадій Иваныч художественная натура. Он только по небрежности не издаст своих музыкальных произведеній, их сам Чайковскій одобрял. Но при всем том и дѣлец, вы понимаете... в Петербургѣ вся биржа у него в руках и вообще в дѣловом мірѣ он шишка. А на обѣды свои выписывает цвѣты прямо из Ниццы — и клубнику, ананасы...

Глѣб относился к разказам Калачева почти-тельно.

— Вы знаете, Людмилочка и Аркадій Иванович понимают вполне друг друга... Она совсѣм особенная женщина с тонкой нервной организаціей. Мечтает о сценѣ. Ну, конечно... Илѣв... это мило, в прошлом году для рабочих спектакль устраивали, но пустяки, тут-же дыра, дыра... — живые люди как Аркадій Иванович или ваш отец рѣдкость. Что дѣ-

лать! Мы с Людмилочкой надѣмся, что нас переведут в Петербург.

Калачев вдруг яростно стал выбивать своей мундштук.

— Людмилу никакой Илѣв не может удовлетворить. Представьте себѣ, через мѣсяц Аркадій Иванович уѣдет, ваш батюшка оснуется в Балыковѣ... вѣдь мы со скуки подохнем. Кто-же тут? Бухгалтеры, десятники, Финк со своей собакой да опухолью... Этак и спиться можно.

Он вздыхал, пыхтѣл, пускал клубы дыма табачнаго. Явно был нервен. На Глѣба это дѣйствовало. Он сам начинал чувствовать тревогу, расслабленность. Никуда не уйдешь, ничего не сдѣлаешь... Ну вот эта удобная комната большого дома, праздная жизнь, лакси, но к чему все это? Нѣтъ, нехорошо.

Калачев оживлялся, однако (да и то минутно), когда рассказывал о Петербургѣ, Горном Институтѣ, музеѣ при нем, гдѣ есть слиток золота с Урала, вѣсом... — Калачев не стѣснялся тѣм, сколько он вѣсит. Рассказывал об удивительных науках: палеонтологія, геологія, кристаллографія... О чудаках профессорах, страшных экзаменах, невѣроятных чертежах просктов. Все это было и занимательно, только неясным оставалось, почему надо так много учиться, работать, преодолевать, чтобы в концѣ концов валяться задрав ноги на диванѣ в Илѣвѣ, курить, болтать, вечером слушать ганешинскіе анекдоты и ремизиться, назначая дикія игры за зеленым столом с мѣлками.

Хотя о Финкѣ отзывался Калачев пренебрежительно, однако в домик к нему затащил Глѣба имен-

но он. Глѣб немножко боялся туда идти. Калачев захохотал почти развязно.

— Финка стѣняться? Этого только не доставало! Он так скучает, что не только нам с вами, а любому прохожему с большой дороги рад будет. Болеслав Фердинандович! А знаете, как мужики его опредѣлили? Хорошій, говорят, человекъ, а отчество у него нескладное...

И с хохотомъ объяснил, что вмѣсто Ф. произносят они П.

— Русскій мужичек придумает, богоносец, как ему удобнѣй. Его теперь всѣ так называют. Только не дай Бог, чтобы узнал.

К Финку они пошли часов в пять, — очень теплый и нѣжный день конца апрѣля. Собственно, идти было недалеко, домик, передѣланный из бани, находился шагахъ в полтораста от дома главнаго. Пристроили кухонку, расширили крыльцо, получилось нѣчто усиденное под липами — не то хижина дяди Тома, не то Эрмитажъ романтическаго философа.

Финк сидѣлъ на своемъ балкончикѣ, в полуразстегнутомъ грязноватомъ халатѣ. На столѣ чашка чаю. Перед нимъ Наполеон. На носу его кусочекъ сахару. — Пиль!

Наполеонъ взмахнулъ головой, пойнтерскія его уши хлопнули концами по ошейнику, кусочекъ сахару взлетѣлъ — он поймал его пастью и блаженно-мгновенно схряпал. Финкъ порадовался.

— То знатный пес. То пес ладный.

Калачев с Глѣбомъ подошли.

— Песъ вашъ первостатейный, Болеславъ П... — Фердинандович... — Калачевъ скосилъ на Глѣба глазъ многозначительно. — Имѣю честь привѣтствовать, привелъ вамъ гостя.

Финк встал, запахнул халат, довольно любезно протянул Глѣбу руку.

— Пана директора сынок, знаю, Пшепрашем.

И широким жестом пригласил к столу — пригласить было легче, чѣм усадить: Финк предложил Калачеву свой стул, а сам присѣл на перила. «Пана Глѣба» попросил захватить табуретку из сѣнец. Глѣб поблагодарил, но присѣл тоже на перила — не без робости.

— Не беспокойтесь, Болеслав Фердинандович, мы вѣдь так... ненадолго, на минутку..,

Лицо Финка сдѣлалось серьезнѣй.

— Разумѣм. Кто-же может надолго зайти к Болеславу Финку? Кому он теперь нужен?

Глѣб смутился — почувствовал, что сказал невловко.

— Нѣтъ, я не в том смыслѣ... совершенно не так.

— Ничего. Рад, что зашли. Был бы у себя на фольваркѣ, то не так бы принял, но здѣсь хозяйство мое убогое, что можно ждать от одинокаго старика — он пожал плечами, опухоль его на шеѣ приподнялась и опустилась.

— Болеслав Фердинандович, не беспокойтесь, — прервал Калачев, — нам никаких угощеній не нужно. Мы запросто, по сосѣдски.

Калачев начал снова болтать — о заводских мелких дѣлишках, о картах, о том, что весна чудная и тяга в самом развалѣ. Глѣб понемногу успокоился, стал Финка разглядывать.

Финк не казался ему теперь сердитым стариком, как в столовой ганешинскаго дома. Правда, был он неопрытен и оброшен. Очень зарос бѣлыми, легкими

волосами. Что-то горестное было во всем нем — и чуждое. Не то что отец, Калачев, инженер.

О тягѣ Финк сказал, что раньше любил эту охоту, а теперь не ѣздит больше — плохо видит в сумерках.

— А прежде без промаху бил... Да, я был в Польшѣ охотник.

Он предложил посмотреть его «карабин», повел к себѣ в комнату. Комната была в запустѣнии. Подозрительная кровать, старый рваный диван, куда тотчас вскочил Наполеон как на свою территорию — улегся на им-же пролежанное мѣсто. Пофыркивая, пощелкивая зубами принялся за блох. Финк снял с рога ружье и стал показывать Калачеву лѣвый его ствол, замѣчательный чок-бор.

— Трафит на полторы сотни шагов. В главу вальдшнепа бил на выбор...

На шатучем столикѣ у стѣны стоял оркестріон. Над ним литографія, сильно от мух пострадавшая. По какому-то полю скакали всадники в ментиках, с саблями наголо — от них удирали бородатые казаки с пиками. Финк замѣтил, что Глѣб внимательно разсматривает их.

— То польская гусарія атакует.

Калачев повѣсил ружье и тоже подошел.

— А-а! В двѣнадцатом году... при Бонапартѣ..., Только позвольте вам сказать, дорогой Болеслав Фердинандович, что в войнѣ этой, особенно при отступленіи из Москвы, гусаріи вашей пришлось плоховато... А?

Финк ничего не отвѣтил. Взяв ручку оркестріона, начал ее вертѣть. Негромкіе звуки раздались оттуда

— вальс «Невозвратное время». Наполеон поднял на диванъ голову, завыл. Финк улыбнулся.

— То наша музыка, и в оперу ходить не нужно. Когда нам с Наполеоном скучно, мы играем...

Калачев с Глѣбом недолго еще пробыли у Финка: пора было собираться на тягу.

— Так вы, значит, Болеслав Фердинандович, нам не допутчик? — Калачев стоял перед ним не без развязности, засунув руки в карманы, животом сильно вперед.

— А то лошадь заказана, мѣсто есть, пожалуйста ста...

— Дзенкую бардзо.

Финк проводил их и прощаясь сказал:

— А гусаріи польской лучше не бывало и не будет.

Калачев напялил свою инженерскую фуражку и на коротких ножках весело от Финка выкатился.

— Серьезный старик и поляк заядлый, — говорил Глѣбу, когда подходили к большому дому, — попробуй польских гусар при нем тронуть... Но посмотри-ли-бы, что с ним за картами дѣлается! Не тут, разумѣется, не у Аркадія Иваныча... винт это пустяки. Он в стуюлку и желѣзную дорогу ѣздит играть по сосѣдству, в Кильдѣево. Там игра азартная. А-а, яростный поляк!

**
**

Через полчаса Глѣб с Калачевым ѣхали на тягу, по плотинѣ. Справа и пониже пыхтѣл, дымил завод. Солнце опускалось за ним, нѣжно золотило все убожество строеній, мастерских и в сквозных лучах

сама пыль над заводом принимала оттенок волшебный. Слева же озеро, зеркально-покойное, лежало в полной вечерней славе. Леса по берегам, отражения их, молчание...

Столбики комаров, тоже позлащенных, выплясывали рядом с лошадьёю.

— Жаль, вашего отца нѣтъ, — сказал Калачев, — тяга нынче отличная. С плотины съѣдем и налево — видите огромный сухой дуб, половину ствола молния сожгла? Мы у него лошадь оставим, сами подадимся вправо. Там дороги расходятся: одна на Кильдѣево. другая в Саров.

И пока кучер, свернув с плотины, рысцой вез их вдоль озера к дубу, Калачев разглагольствовал.

— Балыковскій завод в двадцати пяти верстах и вот сюда, лѣвѣе, а Саров чуть подалее и правѣе. Большой монастырь, извѣстный, на рѣкѣ Сатисѣ, там этот старец жил... ну, очень прославленный теперь — Серафим. И его избушка сохранилась, разные лапотки в ней хранятся, бѣлая рубашка. Поклонение ему большое, вродѣ святого почитается. Говорят, в свое время тысячу дней на камнѣ в лѣсу простоял, все молился. С медвѣдями дружил. А теперь больные ѣзят и разныя дамы. Там и источник, вода холоднющая, но в ней купают именно больных... Да вот, если погода будет хорошая, надо подбить Аркадія Ивановича — съѣздить туда пикником...

Пролетка покачивалась иногда на корнях сосен. Порядочно встряхивала. Глѣб слушал, молчал. Он был в грустном задумчивом настроеніи. Не совсѣм и здоровилось, одиноко как-то. Отца цѣлыми днями нѣтъ...

— Почему-же он стоял так на камнѣ? — вдруг спросил он.

— Ах, Серафим-то? Что-же, он этим занимался, пустынный был, и выстаивался, набирался мудрости... а потом жил при монастырѣ старцем, этаким мудрецом народным, что-ли, к нему за совѣтами ходили, за исцѣленьем.

— Он исцѣлял?

— Говорят, говорят... Да это давно было, при Николаѣ первом, в тридцатых годах. Может быть, и приукрашено...

Дуб, правда, оказался гигантскій. Вороновым крылом блестяли опаленныя его вѣтви, в гладких шрамах. На верхушкѣ сидѣл ястребок, тотчас снявшійся.

Лошадь оставили, сами пошли не по Саровской дорогѣ, а тропкой — Калачев впереди, Глѣб сзади.

— Тут торфяники справа, да мы мимо них, опущечкой. На опушкѣ и станем, вальдшнеп вдоль болота любит тянуть...

Так и стали, друг от друга шагах в пятидесяти. В руках у Глѣба уже не тульское ружьецо, а центрального боя двустволка из Бельгии. И сам он не совсем прежній: не то разсѣян, не то как-то и грустен. За спиной смѣшанный крупный лѣс, там с каждой минутой сгущается мгла, но дышит глубина, благовоиѣ горько-сырое. Желтый лютик над кочкой, рано зацвѣтшій бѣлыми цвѣточками куст. И небо все выше, нѣжныѣ раздвигается — там, гдѣ солнце уйдет, на гаснущем пламени выступит слеза серебряная — Венера.

Все-же ухо глѣбово тонко. Издали. в глуби лѣсов звук родившійся: х-р, х-р, хриповато, но и поюще,

заставляет сердце забиться. Звук приближается, сердце сильнѣй стучит. Вот и он, таинственный обитатель мѣст сих, аристократ и барин острокрылый, длинноносый, худенько-изящный вальдшнеп. Бах-бах...

Со стороны Калачева дулет, легким огнем и дымом мечет сквозь осинки, вальдшнеп дѣлаеѣ дугу, вбок над мелколѣсьем уносится к торфяникам, прочь от стрѣлка.

«Смазал, конечно» — Глѣб был и увѣрен, что Калачев смажет. Он погладил стволы своего ружья с видом маэстро безупречнаго. Но и равнодушіе овладѣло им: не хотѣлось ни стрѣлать, ни не стрѣлать, вообще ничего не хотѣлось.

Через нѣсколько минут на него самого налетѣл вальдшнеп. Со всетаки замирающим сердцем приложился он и выстрѣлил — совершенно так-же как и Калачев смазал, горячась выстрѣлил и из лѣваго ствола, и с таким-же успѣхом.

Охотнику промах никогда не радостен. Глѣб взволнованно вынимал из дымившагося ружья гильзы и вставляя новыя, про себя как-то оправдывался: «лѣс огромный, высоко тянут».

Прѣлью, горькой свѣжестью все сильнѣй пахло. Закат стал темнокраснѣть. Кромѣ Венеры и мелкія звѣздочки появились. Сквозь разсѣянность свою и тоскливость Глѣб стал прямо хотѣть уж теперь удачи, ждал, волновался. Но несмотря на погожій вечер тяга оказалась плохая. Раза два Калачев еще выстрѣлил — безуспѣшно. И, наконец, в низко летѣвшаго вальдшнепа промазал Глѣб вовсе позорно.

— Здорово пуделяете! — крикнул Калачев.

Наступала темнота, плохо видна была уже муш-

ка ствола. У калачевской рыжеватой бородки засвѣтился огонек — он закурил и двинулся к Глѣбу.

— Я тут одного уложил, — сказал Калачев, — досадно, что собаку не взяли. Ясно видѣл, как он в мелоча упал, да гдѣ-же в темнотѣ найти. Высоко тянут, анаемы, стрѣлять трудно.

— А я видѣл, что ваш так-же улетѣл, как и мой, — сказал Глѣб мрачно.

— Ну, что вы... Я ему полкрыла отстрѣлил. Жаль, жаль собаки нѣт. Домой вернемся ни с чѣм.

— И собака была-бы, тоже ни с чѣм бы вернулись.

— Ого-го! Вас не переспоришь... А я собственными глазами видѣл, что он упал.

— Никуда он не падал.

Они шли теперь к лошади, оба в довольно нервном настроеніи. С торфяного болота подымался туман.

Молча сѣли, молча тронулись. Калачев закурил уже третью папиросу.

Плотина, языки пламени над домнами, огоньки в селѣ, все это показалось Глѣбу неприятным и ненужным. Зачѣм он ѣздил с этим Калачевым... Да и вообще вся эта жизнь... Разумѣется, надо сколько-то побыть, в Калугѣ дѣлать сейчас нечего, товарищи вот вот начнут держать экзамены, а он... раз он как выздоравливающей, так значит надо.

Домой вернулись пасмурные. Из Балыкова тріѣхал отец, встрѣтил их чуть не у самой двери.

— Ну, хно-хнотнички, много дичи набили?

И когда узнал, что ничего, длинно свистнул.

Глѣб хотѣл было оправдываться и объяснять, что тяга в этом мѣстѣ высока, но внезапно отворилась

из гостиной дверь — лицо Людмилы было полно раздраженія. вся худенькая фигурка полна нервно-сти и чего-то болѣзненнаго. За ней выскочил и Ганешин. Людмила обернулась к нему, вдруг схватила с подставки вазу, хлопнула ее об пол, под ноги Ганешину, как бомбу. Ваза вдребезги разлетѣлась.

— Людмилочка, — забормотал Калачев, — что с тобой?

Людмила зарыдала, кинулась в кресло.

— Ах, меня никто здѣсь не понимает!

**
*

Глѣб мало еще интересовался непонятыми натурами, Людмила-же и не совсѣм ему нравилась. Он был удивлен этой сценой, но особеннаго вниманія не обратил: ясно, что тут вообще все особенное.

Людмила отплакалась сколько надо, потом ушла к себѣ и к ужину вышла уже приодѣтая, подпудренная, хотя и с загадочной мрачностью. Но послѣ шампанскаго развеселилась. Все пошло гладко. На другой день она скакала уже с Ганешиним в черной своей амазонкѣ по дорогам Илѣва.

Наступил май, очень теплый, ранне-погожій. Березки давно зазеленѣли. Появились майскіе жуки. Калачев с Глѣбом выходили по вечерам в сад с крокетными молотками в руках. Жуки пролетали тихо гудя, а они старались сбивать их в лет. Когда жук падал, Калачев произносил от Финка идущую фразу:

— Бжми хшонц в тштинѣ!

Так продолжал Глѣб свою безцѣльную, лѣниво-

бездѣтельную жизнь: читал случайные романы, старые журналы, слушал валяясь на диванѣ рассказы Калачева.

Из за тѣплыми тяга скоро кончилась. Да не особенно и влекло к охотѣ. Глѣб бродил по парку, иногда уѣзжал один в лодкѣ на озеро.

Калачев-же каждое утро отправлялся теперь к Финку. Входил очень серьезно, здоровался, брался за ручку оркестріона. Музыка начиналась. Калачев подпѣвал, голосом козлообразным, Наполеон выл и лаял. Финку все это нравилось. Полуодѣтый, съдой, с опухолью в видѣ бутылки, он сидѣл в креслѣ, слегка дирижируя рукой. Когда раз Калачев не пришел, Финк остался им недоволен. На другое утро и упрекнул.

— Чи пан инжинер зварьевал? Встал и не-гра!

Утреннія симфоніи слышал и Глѣб, из своей верхней комнаты. Онѣ дѣйствовали ему на нервы, как финкову Наполеону. Так что он читал «Борьбу за Рим» затыкая уши. Однако, сам заходил иногда к Финку, теперь не боялся его. Скорѣе даже тот интересовал Глѣба.

Судьба Финка не совсѣм была ему понятна. Хотѣлось узнать и понять. Однажды, окончательно осмѣлѣвъ, он спросил об этом прямо.

Финк усмѣхнулся.

— То долгая исторія, пане Г-хлебе, то долгая... (Глѣбу нравилось что Финк называл его «пан»). Давно то было. И неинтересно.

— Разскажите, Болеслав Фердинандович.

— Что-же рассказывать, было время, у себя жил, своим домом, а теперь нѣт. Это неинтересно.

— А мнѣ очень интересно.

Глѣб говорил несмѣло, но с упорством. Ему правда хотѣлось послушать Финка.

— То происходило давно. Я не такой тогда был, как сейчас.

Он погладил рукою ус и слегка даже усмѣхнулся.

— Шляхтиц, по вашему говоря помѣщик. Свой фольварк, гончія, пара борзых. Конь ладный. На том конѣ сколько кругом рыскал... Выпить мот бардзо дуже, из себя довольно-таки видный: вонс завѣсистый, мина як у дьябла. Вот, так и жил, что называется, в свое удовольствіе. Только тут и случилась исторія.

Финк пріостановился, посмотрѣл на Глѣба.

— Вы слышали про польское возстаніе 1863 года?

— Слышал...

Глѣб немного смутился. Правда, он что то от отца слышал, но как именно это происходило, не знал.

— Возстаніе было настоящее. Со сраженіями, партизанскими стычками. Казаки умиряли. А кто тогда был русским Императором, то вы по гимназіи должны знать.

— Александр Второй, — отвѣтил Глѣб довольно живо: Освободитель крестьян.

Финк засмѣялся. Глѣбу не весьма понравился смѣх этот.

— Он самый... Освободитель. Но для Польши он в то время не был никаким освободителем. Наоборот — поработитель. Его казаки вѣшали, разстрѣливали наших. Освободитель... Должен сказать, что я в возстаніи как раз и не участвовал — были причины. Но, разумѣется, сочувствовал своим.

Кругом фольварка моего форменная цѣла война. И вот, доложу вам, в один осенній вечер... — не за-

быть мнѣ того вечера... — забредают ко мнѣ два повстанца, с карабинами своими. Один ранен, другой крѣпче, но измучены оба, говорят: «Пане господажу, ратуйте, выбились из сил, а за нами казаки гонятся.» Что тут подѣлать — свои. Ладно, накормил их, руку раненому промыл, перевязал, спать уложил на сѣновалѣ, говорю: если что, в сѣно поглубже зарывайтесь, а уж коли попадетесь, меня не выдавайте. Сами ночью, мол, на сѣновал забрались — благо он и не запирался.

Оставил их, домой ушел, спать лег, а на сердцѣ покойно.

. . . Заря еще не занялась, вот они, казаки. Фольварк оцѣпили — кто хозяин? Я. «У вас тут повстанцы скрываются» «Не вѣм.» «Говорите, гдѣ, а то хуже будет.» «Не вѣм.» «Тогда искать будем.» С самага того сѣновала и начали, пся крев. Пиками сѣно стали щупать — нашли. Ах, Матка Боска Ченстохосска!

Финк встал, волненіе мѣшало уже ему сидѣть.

— Ну?

Финк довольно быстро обернулся к Глѣбу.

— Освободитель крестьян, шестидесятые годы... А чрез полчаса оба, в конфедератках своих, под моим окном на сучьях висѣли.

Глѣб поблѣднѣл.

— Как... висѣли?

— Повѣшены были на мѣстѣ, доложу вам, как взяты с оружіем в руках... А меня арестовали. Чуть было тоже не повѣсили, но передумали, отдали под суд. Суд приговорил: имущество отобрать, самого выслать, как подозрительнаго, в восточную Россію... Сперва за Урал, в Тобольскую губернію, а там и сюда передвинули. в Нижегородскую, гдѣ ваш Саров

— и вот я на этом заводу, Илевском, двадцать лѣтъ по лѣсной части.

Наполеон поднял голову с пролежаннаго своего мѣста на диванѣ, насторожился, вскочил и залаял.

Финк подошел к нему, взял за длинныя уши, стал ласкать.

— Знатный пес, то пес добрый...

Финк явно был взволнован. Глѣб тоже. Глуховатым голосом он сказал:

— Какая жестокость...

И через минуту:

— А когда поляки русских захватывали, они что с ними дѣлали?

— Тѣго не вѣм.

— Все это ужасно... Глѣб слегка запинаясь, но говорил с упорством: а всетаки, Александр Второй был замѣчательный... Император... и сдѣлал очень много для Россіи...

— Может быть.

Финк стал покойнѣе, как-бы и печальнѣй. Он продолжал ласкать Наполеона.

— Может быть, что и много. Но не для нас, поляков.

Наполеон улыбался, важно подал ему лапу.

— Ладный пес, знатный... А моя жизнь, сказать правду, погибла в эти шестидесятыя годы ни за понюшку табака, как по русски говорится. Лѣсничим вот в этом Илевѣ, прошу пана, около монастыря вашего знаменитаго, Сарова. С медвѣдями да мужиками.

Финк замолчал. На стѣнѣ, над оркестріоном, польская гусарія преслѣдовала казаков. С завода, издали доносился гул вагонеток, острый звук меха-

нической пилы, какіе-то ляэги, свистки. Глѣб чувствовал себя непріятно: точно и он был виноват, отвѣтствен, что-ли, за судьбу Болеслава Финка. Он слишком мало знал, чтобы спорить, но чувствовал, что Финк ненавидит Россію и все русское, Александра Второго, котораго Глѣб с ранняго дѣтства привык почитать.

Финку тоже было невесело. Он пофукивал, сопѣл, наконец, улыбнувшись, подошел к оркестріону, принялся вертѣть ручку.

Глѣб недолго у него посидѣл. Вышел в настроеніи смутном, нервном. Домой тоже идти не хотѣлось, день свѣтил ровно и солнечно, было тихо, такая чудесная благодать... Он пошел к озеру. Там у купальни привязана была лодка. Отвязал ее, вскочил, взял лежавшія на днѣ весла, вставил в уключины, стал грести. Лодка легко двинулась. Глѣб греб на ту сторону, отдаляясь от завода, к лѣсистому и пустынному берегу. Уключины постукивали, концы весел плескали — нѣжно-сребристыя капли с них падали. Оборачиваясь к носу лодки видѣл он вдали тот обгорѣлый дуб, у котораго они были с Калачевым в день тяги. Удивительным свѣтом, сіяніем майскаго дня все наполнялось. Как тихо! Там вдали завод и отец, и Ганешин, и Финк — здѣсь иной мір, дико-прелестный.

Глѣб подплыл к песчаному берегу и явленіем своим спугнул ястреба с верхушки засохшаго дуба — лѣнливо-царственно полетѣл ястреб дальше, вглубь, к Сарову.

Глѣб-же вытащил лодку сколь мог на сушу. Сам лег под дубом, недалеко от слѣдов костра — сизовыжженнаго мѣста с кучкою пепла. Сквозь голыя

вѣтви дуба, вздымавшіяся как сухія кости — низ-же дерева был опален черным атласом — в майской голубизнѣ неба проходили облачка. Глѣб смотрѣл на них, ни о чем не думал. Польское возстаніе, казаки, судьба Финка, грохот, суровое движеніе Имперіи... Из лѣса тянуло теплыми мхами, болотцами. инотда протекала струйка сухо-пригрѣтой хвои и сосонника — это сразу, блаженно-сладостно переносило в раннее дѣтство, на деревенскій погост под соснами, напоенный этим запахом. Он закрыл глаза. Слезы выступили у него под рѣсницами. Хорошо-бы лежать так всегда, без времени, дѣл и забот, в сіяющем полубытіи райском. Глѣб не думал сейчас уже ни об Александрѣ II, ни о Родинѣ, за которую только что и обидѣлся, ни о Болеславѣ Фердинандовичѣ. Все это отходило, замирало в глубинѣ, точно тонуло.

Он лежал так тихо, что стал частью пейзажа: два куличка, легким, низким полетом провѣрившіе побережье, опустились у самой лодки и безбоязненно пробѣжали в нѣскольких шагах от него. Кулички были сѣрые, подрагивали хвостиками, отпечатывали вѣточки по влажному песку. Слѣды эти нѣкоторое время держались, а потом стали растекаться.

**
*

К Калачеву Глѣб вполне привык. Перестал даже ощущать разницу возрастов, точно это был его пріятель-отрок. С Финком-же получилось сложнѣе. За обѣдами у Ганешина Финк сидѣл молча на дальнем концѣ стола, сопѣл и неопратно ѣл. В шутках отца и хозяина никогда не участвовал — несмотря на

свой вид был очень самостоятелен, почти-что высокомерен.

Когда Глѣб заходил к нему, он держался вѣжливо и как будто покровительственно. Кромѣ Польши ничего для него не существовало. С Глѣбом он охотно разговаривал наединѣ и Глѣб всегда ощущал себя нѣсколько стѣсненным, хотя что-то и возбуждало его в словах Финка.

— Пан инженер (так называл он Калачева) музыкант знатный, и когда по утрам у меня на оркестріонѣ играет, то прелесть. Но на завод не ходит. И за женою не смотрит. А надо бы. Пани хоть и шкапа, а с Аркадіем Ивановичем слишком разѣзжает.

Глѣб не особенно обратил на это вниманіе. Другое в разказах Финка заинтересовало его больше.

— Комнаты у нея и Аркадія Ивановича рядом, но двери нѣт. Это только кажется, что нѣт. Ловко устроено, мнѣ камердинер рассказывал: когда никого еще вас тут не было, пріѣзжали из Нижняго мастера и такую дверку устроили потайную, что она и в ея комнату как бы шкафом выходит и у пана презуса тоже в этом мѣстѣ шкаф, а он весь отворяется, толкнуть рукой шкафчик пани шкапы — и он тоже на шалнерах, зараз в ея спальнѣ. Хоть и шкапа, а нашего презуса объѣхала.

На Глѣба этот разговор произвел смутное впечатлѣніе. Но исторія с дверью занимала.

На другой день, когда Ганешин уѣхал, он сдѣлал даже не совсѣм джентльменскій шаг, тайком заглянул в его кабинет. Дѣйствительно, небольшой шкаф был вдѣлан в стѣну... но открывается-ли он насквозь? Этого Глѣб так и не узнал.

Другое в финковых разсказах задѣло его гораздо больше.

— Пан инженер лайдак, говорил Болеслав Фердинандович, и пан презус тоже лайдак: и то-бы ничего, а знают-ли они, что на заводѣ о них говорят? Х-ха! Они простых людей и не видят вовсе. Только с инженерами ликеры пьют, да в карты играют. Я сам карты люблю, а зачѣм-же рабочим заработка задерживать? На Вознесенском заводѣ в прошлом мѣсяцѣ и вовсе ничего не выдали — берите, мол, из заводскаго магазина мукой, крупой, салом. А денег из Петербурга не прислали. Так и у нас в Илевѣ поговаривают: что-же, сами пьянствуют, туды-сюды катают, а наши-же трудовыя денежки задерживают? То, может, все это заводское управленіе деньжонки себѣ забирает?

У Глѣба слегка перехватило горло.

— Директор Илевскаго завода мой отец. Он не может никому задерживать деньги. Это неправда.

У Финка мелькнуло в глазах не то смущеніе, не то скрываемое раздраженіе. Он поспѣшно отвѣтил:

— Я ничего и не говорю про пана директора. И никто о нем не говорит. А насчет Вознесенска то су-щая правда.

Глѣб остался, все-таки, несовсѣм доволен. Ну еще-бы, посмѣл-бы этот старик с опухолью обвинять в чем нибудь его отца! Но Глѣб знал, что дѣйстви-тельно отец ѣздил недавно на Вознесенскій завод. Пробыл двое суток, вернулся не в духѣ.

На другой день, за обычным послѣобѣденным валяньем на диванѣ он спросил об этом Калачева. Тот лежал на спинѣ, в полуразстегнутой тужуркѣ, с мундштуком в зубах, и высоко заложив ногу за ногу,

пускал изо рта кольца дыму. Вниманіе его было тѣм занято, чтоб одно текучее, сизо-завивающееся кольцо плыло за другим на равных разстояніях и как можно дальше уходило не развѣявшись.

— Финк? А-а, всегда что-то из под полы язвит. Раз... два... три... четыре...

Глядя на круто завернутое кольцо, безшумно, безтѣлесно утекавшее, Калачев как дирижер отбивая в воздухѣ концом сапога такт, медленно досчитал до десяти. Кольцо все плыло.

— Bravo!

Он даже вскочил.

— Глѣб, обратите вниманіе, почти до самаго окна. Десять секунд!

Калачев бросил окурок в пепельницу, вставил новую папиросу.

— Болеслав П... Фердинандович... нас осуждает, я знаю. А сам, а сам! А-ха-ха... Каждую недѣлю в Кильдѣево ѣздит, там с подрядчиками и прасолами в стуюлку рѣжется. Да чего в стуюлку, дѣло не в этом.

И Калачев рассказал Глѣбу, как нѣсколько лѣг назад Финк проиграл три тысячи заводских денег и чуть было не повѣсился — вынули из петли, Наполеон лаем спас.

— У него сбереженія были, все ухнуло, да еще вот и чужія... Вы понимаете! Но отдышался, а теперь опять копит и опять играет.

— Значит, про Вознесенск неправда?

Калачев попыхивал уже новой папирсой.

— Разумѣется. Всегда преувеличивает, что нас касается. Вышла маленькая задержка, больше ничего. Все отлично уладилось.

В подтвержденіе-же того, что уладилось, и что вообще все благополучно, Калачев пустил огромное кольцо дыма. Оно плыло с удивительною гармоніей, почти что с музыкальной безплотностью и развѣявшись, наконец, могло-бы служить для болѣе фило-софических зрителей нѣким обликом бренности.

**
*

В концѣ мая выдался удивительный день, теплый, почти даже душный. Глѣб отправился на озеро, в купальню. Вода, воздух показались ему обольсти-тельными, тѣло блестяло в брызгах, под золотом солнца. Он и плавал, и лежал на досках в адамовом видѣ, и опять прыгал в воду. Все это было отлично. В концѣ-же концов озаяб, вернулся домой посинѣ-лый. А ночью боль в горлѣ, жар, все, как полагается.

Утром он встать уж не мог. Лежал наверху, в своей комнатѣ на хорах — отец в Балыковѣ, Гане-шину и Людмилѣ не до него. Друг Калачев навѣстит в то-же утро, поохал, сказал, что позвонит отцу в Балыково по телефону и ушел. Кому с больным ве-село! Глѣб впал в печальное настроеніе. Вот, ѣхал к отцу за тридевять земель поправляться послѣ зим-ней болѣзни — а теперь заполучил лѣтнюю! Но вѣдь там, в Калугѣ, на Спасо-Жировкѣ хворал у себя до-ма, при матери, Лизѣ, Сонѣ-Собачкѣ. А тут, в чужом мѣстѣ...

Отец пріѣхал на другой день к вечеру — Глѣб с радостью услышал колокольчик тройки. Отец во-шел бодрый и мужественный, хотя и обезпокоенный. Глѣб, на своем диванчикѣ, откуда видны были в ок-

но лишь верхушки лип и берез в паркѣ, сразу почувствовал, что теперь за ним сила, свое, родное.

— Что-же это ты, братец ты мой, раскис? — говорил отец, ласково его гладил по волосам, трогал лоб. — Перекупался, говорят?

Глѣб смотрѣл на него почти виноватыми глазами.

— Да я, знаешь... я, конечно, купался. День был уж очень хорошій...

Он взял горячей, отроческой рукой знакомую, в мелких веснушках, в лабораторіи Горнаго Института нѣкогда обожженную руку отца — хотѣлось прижаться к ней, поцѣловать... — он нѣчто в этом родѣ и сдѣлал, робко и неловко, и вдруг испытал новое, остро-пронзающее чувство — слез... Он закрыл глаза, постарался отвернуться. Отец еще ласковѣ обнял, тоже смущенно забормотал: «Ну вот, ну вот, что-же это ты расхворался у меня, гимназіаст... Поправляться надо, сил набирать, а он хворает».

Глѣб сдѣлал огромное усилие, чтобы не заплакать (это был бы уже позор!), крѣпко сжал отцу руку.

— Знаешь, когда я выздоровѣю... надо уж домой... в Калугу.

Отец сѣл рядом в креслецо, задумался.

— Тебѣ здѣсь надоѣло?

Глѣб чувствовал себя очень слабым и несчастным.

— Я... хочу... домой.

Отец поднялся. Подошел к двери, закурил, выпускал дым на хоры. Так он стоял, как-то странно курил.

— Да, видимо, братец ты мой, пора нам отсюда... Пора.

Глѣб не совсем понял, что хотѣл этим сказать

отец, но осталось ощущение, что юши с ним свои, не удивительно, что одинаково чувствуют.

Эти дни отец пробыл в Илевѣ. Заводскій доктор мазал Глѣбу горло как в Калугѣ Красавец, давал полосканья, держал в компрессѣ — жар стал спадать. Наступила та ровно-унылая полоса болѣзни, которой Глѣб и боялся: немножко кашель, немножко жар, слабость... — бронхит, с одной кушетки переѣзжает он на другую, но сил для настоящей жизни нѣтъ.

Отец не совсѣм был покоен, Глѣб это замѣчал. Зашел, наконец, навѣстить его и Ганешин. Сидѣлъ разставив ноги, курил сигару, от которой Глѣб закашлялся, рассказал неподходящій анекдот. Отец послѣ его ухода сказал: «Какое брехло.»

В другой раз, в полуоткрытую на хоры дверь Глѣб слышал громкіе голоса снизу — Ганешина и отца. Что говорилось, разобрать было нельзя, но видимо что спорят, сердятся. Потом все сразу смолкло, по лѣстницѣ шаги отца. Глѣб, слабый и подавленный, лежал на диванчикѣ, читал «Борьбу за Рим».

Отец вошел слегка насвистывая, но лицо его было разстроенное — Глѣб это сразу почувствовал.

— Ну вот, все читаешь, читаешь...

Он подѣлъ, взял толстую книгу.

— Роман... фантазіи разныя.

— Это вѣдь историческій, сказал Глѣб робко. — Очень интересно. Тут про Италію, Рим. Знаешь, завоеваніе Италіи готами, а потом византійцами.

Глѣб произнес это таким тоном, будто в Илевѣ отцу эти событія так-же близки, как ему самому.

Отец фукнул.

— Вот именно. Готами! Это для меня необходимо

знать. Историческій... Свою бы нам исторію знать, русскую. Да, ну читай, коли интересно, но это все далеко от жизни, тебѣ вѣдь не в Римѣ жить, а на какомъ нибудь такомъ заводѣ...

Отецъ вынулъ папиросу, не безъ нервности ее закурилъ.

— Имѣть дѣло съ такими болтунами петербургскими... Это никакой не Рим. И хуже всего — ферты, хлыщи... А ничего не подѣлаешь, в Вознесенск надо ѣхать, ты ужь, братецъ ты мой, не взыщи, продолжалъ вдругъ отецъ мягче: опять тебѣ придется одному побывать.

Глѣбъ вздохнулъ.

— Ты надолго?

— Нѣтъ... ну, всетаки, денька на два... Тамъ дѣло есть.

Къ концу недѣли онъ дѣйствительно уѣхалъ. Глѣбъ остался одинъ со своей болѣзнью. Болѣзнь, правда, оказалась не такъ упорна, какъ зимой в Калугѣ: онъ всталъ уже черезъ два дня и бродилъ, и спускался внизъ. Но все казалось чужимъ, даже Калачев раздражалъ — Глѣбъ лучше чувствовалъ себя наверху на диванчикѣ съ «Борьбою за Римъ».

Скромному писателю германскому Феликсу Дану да будетъ легка земля за питаніе отрока русскаго в глуши, в печали! Немудрящъ романъ, но впервые открылись изъ него Глѣбу Римъ и Равенна, Неаполь, романтическіе короли готовъ, демоническій защитникъ Рима Цетегусъ.

Осаждаютъ замокъ св. Ангела и уже готы карабкаются на послѣднюю баллюстраду защиты, но «по мраморнымъ плитамъ загремѣли желѣзные шаги.» Римъ еще не сдастся. «То подоспѣлъ, вскачь съ Эсквилинъ»

скаго холма со своими всадниками Корнелій Цетегус» — и на варваров летят античныя статуи, украсившія замок, а Глѣб в полу-азіатском Илевѣ блаженно холодѣет от волненія, встает, прохаживается, вновь берет книгу.

Или вот — близок конец. Византійцы хитраго Нарзеса одолѣли и тѣх, и других. Готы заперты в ущельѣ у Везувія, римлян почти не осталось. Цетегус, в полном вооруженіи, шествует берегом моря. Мечта опасности Рим погибла. Впереди лишь смерть. И «у ног его, ласковыя и нѣжныя, ложились лазурныя волны Тирренскаго моря, осень дышала неизъяснимою прелестью залива Байи» — Глѣб в сладостной меланхоліи шел за ним — в первый раз по священной землѣ Италіи. А далѣе — видѣл послѣднюю, безнадежную битву с византійцами, гдѣ готы погибали не сдаваясь и «запахнувшись в свой римскій плащ», бросался в кратер Везувія Корнелій Цетегус.

Так кончал Глѣб милую для него «Борьбу за Рим», а отец все не возвращался. Вечером зашел к нему Калачев.

— Завтра утром навѣрно вернется. Ах, как мнѣ надоѣло тут... Фу! Если-бы знали! Однѣ неприятности.

Калачев, правда, имѣл вид нѣсколько растерянный. Он посидѣл, повертѣлся, взял «Борьбу за Рим».

— На ночь, что-ли, почитать...

На другой день Глѣб был удивлен посѣщеніем Финка. Болеслав Фердинандович не так легко и поднялся наверх — крупная его фигура с сѣдой головой, опухолью на шеѣ, в поношенном сюртукѣ за-

полнила всю дверь. Он довольно тяжело дышал, опираясь рукой на палку.

— Нѣту еще пана директора. — Ничего, все обойдется, зараз сюда прїѣдет.

У Глѣба забилось сердце.

— Почему папы так долго нѣт?

— Спокойнѣе, пане Глебе, зачѣм-же вам волноваться? Пана директора никто тронуть не может, он тут непричем...

Глѣб поблѣднѣл, поднялся с диванчика.

— Почему-же папу может ктонибудь трогать?

Финк сидѣл теперь в креслѣ, опираясь обѣими руками на палку, поставленную между ног. Наполеон вертѣлся около него.

— Никто и не тронет, говорю вам за вѣрное, как за то, что я Болеслав Финк. Из конторы с Вознесенском по телефону говорили, там все успокаивается.

— А... что-же было?

И только сейчас, впервые от Финка узнал Глѣб, что именно в Вознесенскѣ-то и было «неблагополучно» — опять задержали выдачу, рабочіе бросили мастерскія — затѣм и послал туда Ганешин отца, бьворачиваться...

Финк слегка нагнулся к Глѣбу, негромко сказал:

— Побоялся сам поѣхать, со своею шкапой все здѣсь возится, а пан директор отдувается...

Глѣб совсѣм разволновался. От него скрывают, отца послали Бог знает куда, с опасным порученіем... А вдруг там с ним чтонибудь рабочіе сдѣлают?

— Болеслав Фердинандович... вам кто сказал... как сказал про папу... Что он там сейчас дѣлает?

Финк старался его увѣрить, что все налаживается, опасности нѣт, но руки Глѣба были ледяныя,

ему мерещился уже отец, один среди бунта, в странной толпѣ...

Финк посидѣлъ недолго, его позвали снизу. Если он полагал, что успокоит Глѣба, то вышло как раз наоборот. Пометавшись по своей комнаткѣ, Глѣб основательнѣй застегнул курточку, поправил пояс, волосы, и несмотря на нѣкоторую слабость довольно живо сбѣжал вниз. Друга Калачева нигдѣ не было. Глѣб замѣтил у подъѣзда подводу. На ней лежали два огромных чемодана свиной кожи. Через залу здоровенные носильщики тащили сундук с пестрыми наклейками: Monte Carlo, Cannes, Wiesbaden.

Под окнами пробѣжала Людмила в свѣжей кофточкѣ. Вид у нея был озабоченный. «У кого-же спросить?..» Никого нѣтъ, Глѣба это разстраивало. Хотѣлось куда-то идти, узнать об отцѣ, успокоиться. В этом томленіи он забрел, через полуоткрытую дверь, в кабинет Ганешина. Тут тоже стоял доверху уложенный сундук, еще не запертый, валялись вещи, на столѣ куча книг. Глѣб бездумно подошел, стал их перебирать. Тотчас попалась «Борьба за Рим», видимо затащил Калачев. Вдруг звонок телефона на столѣ — тоненькій звоночек девяностых годов. Глѣб не знал как поступить, позвать-ли кого, снять-ли трубку и отвѣтить. Телефон смолк, а потом вновь пустил свою трель — тут произошло нѣчто странное: дверь шкафа в стѣнѣ отворилась, оттуда, как нѣкій Щелкунчик выпрыгнул головастый на тонких ножках Ганешин. Он бросился к телефону. Увидѣвъ Глѣба, вспыхнул.

— Вы зачѣм здѣсь? Что вы тут роетесь в моих книгах? Нѣтъ, нѣтъ, покорнѣйше прошу...

В отверстіе шкафа видна была другая комната. Там укладывалась Людмила.

— Я... тут моя книга... — Глѣб с ужасом чувствовал, что не так что-то говорит, но ничего больше не смог из себя выдать. Треугольная голова Ганешина припала к телефонной трубкѣ, лысина свѣтила на Глѣба, он с ненавистью смотрѣл на эту лысину, на узкіе сѣренькіе брючки, элегантный пиджачек.

— Я хочу знать, наконец твердо, но с мученіем произнес Глѣб: гдѣ мой папа?

Ганешин сердито замахал на него рукой.

— Не мѣшайте! Успѣете со своим папой... Это как раз Вознесенск. Ну вот, ну вот, можете успокоиться. Это он и есть. А? Да? Выѣзжаете? Отлично. А то ваш наслѣдник тревожится, залѣз даже ко мнѣ в кабинет. А? Плохо слышно. Нѣт, ничего. В порядкѣ. Вы нас с Людмилой еще застанете. Да? С ним поговорить? Извольте. Передаю трубку отпрыску, который нынче не в духѣ...

В шкафу-двери показалась Людмила.

— Аркадій Иванович, эти двѣ блузки я вам в сундук подбрасываю, в моем не умѣщается...

Щелкунчик замахал на нее руками. Увидѣв Глѣба, она смутилась, бросила на диван блузки, скрылась. А Глѣб прильнул к трубкѣ и в неясном бормотаніи ея все-же узнал голос отца. Да, все уладилось. В Вознесенскѣ спокойно, у подѣзда тройка, через два-три часа он в Илевѣ.

Ганешин нервно ходил по кабинету. Когда Глѣб положил трубку, он вновь обратился к нему — теперь нѣсколько мягче.

— Мнѣ о вашем отцѣ всѣ уши прожужжали —

что с ним, да как он... будто я виноват! Он инженер, у нас служит, его обязанность — улаживать всякія там... недоразумѣнія. У вас-же такой надутый вид, вы сердитесь, молодой человек... ах, ну я так сказал, это пустяки, разумеется, но не люблю, чтобы у меня в комнатѣ рылись в книгах.

— Я не... рылся. Я просто беру назад мою-же собственную книгу.

— Вашу книгу! Как она сюда попала? Ну ладно, ладно, мир!

Подойдя к Глѣбу, он полу-развязно, полу-благодарно обнял его.

**
*

Три часа до приѣзда отца Глѣб провел в одиночествѣ, у себя наверху. «Борьба за Рим» лежала на столѣ. Снизу слышны были голоса, опять тащили через залу что-то тяжелое, потом закричала подвода. Глѣб вставал, прислушивался, выглядывал в окно.

Как хотѣлось бы, чтоб отец поскорѣе приѣхал! Он полон был безпокойства, смущенія, тягостно-неясный оттѣнок господствовал над его душой. Правильно-ли он держал себя с Ганешиным? Может быть, надо было покрѣпче? Вѣдь тот крикнул так грубо... правда, потом почти извинялся. Ах, все это неестественно, фальшь...

В томленіи своем Глѣб не выдержал и пред вечерней зарей сошел вниз в парк. Его радостно поразил свѣжій, такой нѣжно-благодарный лѣтній воздух. Пахло и лѣсом, и влагой, и немножко тянуло

скошенным на лужайкѣ сѣном. Необыкновенным, недосягаемо-прекрасным показалось розовѣвшее к закату небо. Глѣб пошел в сторону домика Финка, в смутном, но волнующем утѣшеніи. Вечерній дрозд утѣшал его, вечернее благоуханіе, эта неизреченная прелесть неба.

Встрѣтился Финк. Он был в пальто и шляпѣ. Шел торопливо. Наполеон как бѣшенный вокруг носился.

— А я в Кильдѣево...

— Играть будете?

Финк взглянул на него не совсѣм дружелюбно — откуда, мол, извѣстно?

— А не вѣчно в этой дырѣ киснуть, доложу я вам.

Если-бы Глѣб знал, что в Кильдѣевѣ остановился на нѣсколько дней богатый подрядчик, что к ярмаркѣ съѣхались купцы, прасолы и игра будет крупная, он бы понял, почему Финк так оживлен.

Солнце садилось, когда издали он услышал колокольчики — это отец, о чем говорить. Тройка в мылѣ остановилась у подъѣзда (Глѣб едва успѣл добѣжать), отец, похудѣвшій и усталый вылѣзал из тарантаса в дорожном пыльникѣ — это был он, живой, настоящій отец.

— Ну вот, ну вот...

Он прямо поднялся к себѣ навсрх, там пересѣдѣвался, мылся, фыркал ютдуваясь, плюясь — и разсказывал.

— Паршивое, братец ты мой, было положеніе... Я уж тебя не хотѣл тревожить. В конторѣ сидѣл, как в осадѣ. Толпа кругом... Эти то, которые около меня

были, выбранные от рабочих, ничего... А там издали все напирали.

Глѣб с волненіем, ужасом слушал разсказ отца, как ждали отвѣта на телеграмму в Петербург, как бросали снаружи иногда камнями в окна, в одном мѣстѣ высадили раму...

— Папа, уѣдем отсюда...

Глѣб говорил почти умоляюще.

— Тут нехорошо.

— Провожу нынче хозяина, а там и мы с тобой тронемся. Мнѣ надо в Нижній по дѣлам, а тебѣ пора на твою Спасо-Жировку.

Глѣб разсказал отцу про Ганешина, про «Борьбу за Рим» и неприятный случай — тот только рукой махнул:

— Обращать на него вниманіе!

Это Глѣба сильно укрѣпило. Значит, он не сдѣлал ничего предосудительнаго — достоинства своего не уронил.

На другой день Ганешин с Людмилою укатили. Ганешин помахивал на прощаніе ручкой—отцу, Глѣбу, Калачеву. Калачев нѣсколько вспотѣл. Он безпрерывно курил и вся полуразстегнутая его тужурка была засыпана шеплом от мундштучной папиросы.

— Людмилочка отправилась в Петербург, говорил он Глѣбу, полуобняв его и разгуливая по залѣ: Аркадій Иваныч устраивает ее на сцену... любительскую, а там видно будет. Я-же пока здѣсь... — он прижал к себѣ Глѣба и бѣлыми, умоляющими глазами посмотрѣл на него. — Я временно остаюсь здѣсь, Глѣб, главным представителем Правленія... но и меня Аркадій Иваныч устраивает в Петербургѣ, при Совѣтѣ Съѣздов Горнопромышленников... Люд-

милочка должна присмотрѣть нам квартиру, гдѣ нибудь на Сергіевской или Фурштатской. Это аристократическія улицы. А-а, Петербург...

Неизмѣнно поколыхивая широким задом, стал он рассказывать, как по улицам этим проносятся придворныя кареты. На спектакли Михайловскаго театра собирается знать, а в ресторанѣ «Медвѣдь» кутят гвардейскіе офицеры.

**
*

Та самая сила, что чрез одни лѣса и рѣки влекла Глѣба сюда, теперь иным путем и удаляла.

Тройка, на которой он с отцом выѣзжал в гансшинской коляскѣ из Илева, шагом шла по плотинѣ. А там свернула в лѣс, мимо того обгорѣвшаго дуба, который хорошо знал уже Глѣб — по дорогѣ к Сарову. Кучер пустил лошадей рысцой. Илев быстро канул в былое. Глѣб не очень о нем и думал, мелколѣсье, мхи да шески окружили, завели медленное свое круговращеніе вокруг коляски.

— Жаль, сказал Глѣб, что мы на Балыково не поѣдем.

Отец мирно курил, мирно смотрѣл равно-ли идут лошади, хорошо-ли берут пристяжныя, не засѣкаются-ли. По его отдохнувшему, спокойному лицу было видно, что он наконец в своем мірѣ — лѣсов, природы, лошадей.

— Балыковскій завод в сторонѣ, верст пять лишних пришлось-бы сдѣлать.

Глѣб знал, что это новое мѣсто, там строят домну и туда, тоже в ново-строящійся дом переѣдет отец

к осени. Там будет жить мать и туда придется приѣзжать на каникулы.

— А через Саров поѣдем?

— В самый монастырь не попадем. Но лѣса ихніе увидим.

Путь лежал на уѣздный городок Темников, а там по Окѣ на Нижній. Пароход проходил около двух ночи, так что поторапливались — одна тройка ждала подставой близ Сарова, другая в Темниковѣ.

Саровскіе лѣса велики, знамениты. Сорок тысяч десятин мачтовой сосны и ели, прорѣзает их рѣка Сатис, темноводная, глубоководная. Сколько рыбы, звѣрья! Но охотиться в лѣсу нельзя, он шод охраною покойнаго старца Серафима. Медвѣдь російскій пред ним склоняется. Таинственный старичек, сутулый, маленькій, несущій на спинѣ вязанку дров братски дает ему хлѣбушка: по всей Руси прошелся позже Преподобный Серафим с медвѣдем в тысячах лубочных воспроизведеній.

Уже смеркалось, когда Глѣб с отцом вступили в область Серафима со стороны Ардатовской дороги. Дѣйствительно, все сразу измѣнилось. Бор, сумрак, смоляной дух, тишина. Лошади пошли шагом — корни сосен столѣтних протягивали кое гдѣ под дорогою свои узлы: коляску слегка покачивало.

— У них тут, правда, и медвѣди есть, — сказал отец. — Барсуки, лисы. Охота богатѣйшая. Глухарей одних сколько. Но это, братец ты мой, нам с тобою заказано. В пяти верстах жить будем да облизываться. Охотиться никому не позволяют. Хоть бы великій князь приѣхал — не положено.

Кое гдѣ кучер трогал рысдой.

Становилось темнѣе. Тянуло в верхушках гулом

почти музыкальным. Сосны медленно проходили, как на тихом параде великаны. Гигантский муравейник, пень. Ель, лежащая с вывернутым корнем, выгребла из глубин рваные клочья земли, мелкую сѣтку корешков. А если полоса сплошных елей, то сразу темно, и так мертвенно-сухо засыпано по землѣ иглами — ни травинки, ни цвѣтка.

Глѣбу было довольно жутко. Правда, рядом отец, теперь лицо его видно лишь в краснѣющем отсвѣтѣ папироски. Глѣб как охотник знал жизнь медвѣдей, не очень-то разгуливающих по большим дорогам — все-таки... вдруг да выгнет из за сосны. Может быть, и разбойники гдѣ нибудь прячутся. И во всяком случаѣ, смутно-таинственное и почти грозное было в темнѣющем бору.

— Вот от этого поворота до монастыря версты полторы, — сказал отец. — А нам на Темников направо.

Весьма вѣроятно, что именно в этих мѣстах и встрѣтили-бы они шестьдесят лѣт назад спорбленнаго старичка с вязанкой дров, с милым медвѣдем спутником... — и не узнали бы его. Как и теперь, хоть и молчали всѣ, в задумчивости, все-же не понимали, по каким мѣстам Родины ѣдут.

Ѣхали долго. Лѣс, тьма, скоро ставшая почти непроглядной, утомили Глѣба, он пристраивался то к углу коляски, то к плечу отца. В головѣ путаница, слышалось, на толчках вспыхивала мгновенная искра из батарейки, что-то связывала, а там снова хаос. В нем тонул и Саров, и отец, и лѣс, лошади.

Глѣб очнулся, когда тройка шла ровно, спокойною рысью, в пустынном полѣ. Над головой увидал он звѣзды, впереди огоньки.

— Темников, — сказал кучер.

Отец наклонился к Глѣбу, усы его пощекотали ему щеку.

— Ну что, проснулся гимназіаст?

Глѣб несовсѣм довольным тоном отвѣтил:

— Может быть, я немножко задремал сейчас... но все слышал.

— То-то вот и может быть. Два часа уж из саровскаго лѣса выѣхали.

Так задернула ночь от Глѣба Саров и Илѣв — точно Илѣва и вовсе не было. Глѣб о нем и не думал. Калачев-же в Илѣвѣ всетаки существовал, и как раз находился теперь один в большом домѣ, выпивал, а поболтать не с кѣм: даже Финк уѣхал опять пытаться счастье в Кильдѣво.

В Темниковѣ перепрягали лошадей, отец с Глѣбом выпили по стакану чаю и опять началась ночь, коляска, темнота, опять Глѣб заснул мертво-отроческим сном, с болтающейся на толчках головой и в предутренній час докатились они из тамбовских степей к той-же Окѣ, что сопровождала глѣбов путь с дѣтства.

Трудно было Глѣбу понять, что это Ока. Умирая от желанія сна, он сидѣл с отцом на захолустной пристани, под несчастным фонариком. Впереди что то темное и безконечное. Пахнет рѣкой, вода плескивает. Но главное мрак, мрак... Сон, сон.

Появились огни на водѣ. Весь свѣтящійся, Глѣбу показавшійся огромным, подошел староход, «полу-волжскій», это уж не «Дмитрій Донской» Будаков. Блаженно перебрались в мір новый — изящества, тепла, свѣта, элегантной рубки, отдѣльных кают перваго класса.

Пароход в мягком подрагиваніи понес по Окѣ вытянувшіяся на диванах подобія отца и Глѣба — утром им предстояло ожить и вернуться в міръ. И как раз в часы их отсутствія шла в Кильдѣевѣ карточная игра. Финк на этот раз взял с собой всѣ свои сбереженія.

Когда отец с Глѣбом проснулись, был уж дождливый, сумрачный день. Подходили к Нижнему Новгороду. Ока кончалась и была сколь многоводнѣе, шире чѣм под Калугою у Будаков. Чуть что не Волга.

В сѣрости мелкой мокрети особенно зеленѣли дубравные холмы с красными срѣзами-обрывами, гдѣ проступали слои сланцев, глинистые размывы. Все текло, мокло. Кое гдѣ посѣвы на полях — посвѣтлѣвшія уже ржи, яркозеленый овес.

Показался и Нижній — Заволжье и Волга, лѣс и степь, Россія и Азія. Глѣб в волненіи видѣл какія-то башни по горѣ, зубчатую древнюю стѣну, вниз сбѣгавшую, церкви, Кремль — над слияніем Волги и Оки знаменитый город. Финку, может быть, не так был он пріятен — в свое время выручил Россію... Но Финк не мог уж сейчас ничего ни сказать, ни сдѣлать. Проигравшись до послѣдней трехрублевки, он вернулся на зарѣ в Илѣв, лег у себя на диван и болѣе не встал. У его смертнаго ложа был Наполеон.

III.

Красавец достаточно наѣздили по маскарадам, достаточно и намокал. Попріѣлись интрижки. И перевалив за пятьдесят, неожиданно женился он на молодой Олимпіадѣ Фирсовой.

Это произошло весной, через год послѣ Илѣва. Глѣб ѣздил уже не в гимназію, а в реальное училище — послѣдніе мѣсяцы Спасо-Жировки. Соня-Собачка кончала ученіе, уѣзжала в Москву на фельдшерскіе, сестра Лиза в Консерваторію, мать к отцу на Балыковскій завод. С осени Глѣб должен был остаться в Калугѣ совсѣм один — поселялся у Красавца.

Он провел вдвоем с Лизой довольно грустное лѣто. Лиза готовилась к консерваторскому экзамену, брала уроки у сухенькой, черной, прихрамывающей музыкантши — ходила к ней на Никольскую. Иногда музыкантша сама приходила — издали было видно, как она ковыляет по Спасо-Жировкѣ. Начинались этюды, экзерсисы, Бетховены. Глѣбу даже и нравились, когда онѣ играли в четыре руки «Коріолана» — он высовывался из окна гостиной и глядѣл вниз, по сбѣгавшей к тюремѣ улицѣ, вдаль за Оку, гдѣ нѣкогда были Будаки. Но все это конец, конец. Вот пройдет август — и «Коріолана» не услышишь, не

увидишь сестры. К октябрю новые жильцы въѣдут в эту квартиру.

...Проводы Лизы — долгий путь через Московские ворота за город, к вокзалу. Буфет, звонки, поѣзд, последние поцѣлуи. Хроменькая музыкантша все твердила Лизѣ: «Скажите в Консерватории, что вы моя ученица. Меня там все знают, даже сам Сафонов».

Глѣб шел за поѣздом — из окна кивало худенькое, милое личико, слегка в веснушках, с карими как у матери глазами. Сквозь слезы Лиза повторяла: «Глѣб, ты пожалуйста пиши» — а там и платформа окончилась, поѣзд прибавил ходу. Все сплылось, потонуло в хаосѣ, некрасотѣ разных товарных вагонов, семафоров, железнодорожных стросней. Лиза одна катила теперь в темнотѣ ночи.

Тот-же извозчик вез Глѣба обратно. Убоги огоньки предмѣстья. Длиннен жезл шоссе до Московских ворот, с канавками по бокам, одноэтажными домиками, гдѣ живут рабочіе мастерских железнодорожных.

На Спасо-Жировкѣ тоже пусто. Старая кухарка отворила Глѣбу. Он прошел по знакомым комнатам — все уже иное. Упаковщики купца Ирошникова, которому поручено было отправить мебель в Балыково, почти кончили работу. Диваны, стулья зашиты в рогожу, сундуки увязаны... — только в глѣбовой комнатѣ сохранилась еще кровать. Кухарка покормила его и ушла. Глѣб остался один.

В окнѣ дома скопцов, через улицу, тусклый огонек. Глѣб, за эти два года, насмотрѣлся как живут они там — въѣзжают в ворота возы с пенькой, разными тюками, встрѣчают их безусия существа. По-

том безмолвно все затворяется. Назавтра вывезут опять — для продажи? И так изо дня в день. Считают, ѣдят, спят, копят...

Глѣб рано лег, но не мог заснуть. Казалось, совершенно он один в неоглядной ночи. Разбирал страх. Сердце ныло. Он ворочался, подушка нагрѣвалась.

Вдруг в домѣ вспыхнет пожар — загорится нижній этаж, запылает и не замѣтишь как, и не совсѣм простым пламенем, а тоже особенным, невѣсомым, теенским... — переполыхнет оттуда, через улицу — и конец.

Глѣб приподнялся на локтѣ, стал присматриваться. Виски влажны. Сердце бьется. «Ну да, тогда надо связать простыни, прикрѣпить здѣсь за чтонибудь... и вниз. Соскользну». Он поднялся, босиком прошел во тѣмѣ комнаты, присмотрѣлся всетаки, за какую рукоятку увязать конец простыни. Опять лег. Опять началось прежнее — почему этот страх таинственного пожара? Почему именно казалось, что скопцы, загадочная для него нечисть, наведут злую силу? Но вот казалось.

Он заснул поздно. Утром все представилось другим, ясным и обычным. Лиза уже в Москвѣ, или к ней подъѣзжает. А он одѣнется, напьется чаю и набив учебниками ранец свой, выйдет из дому, чтобы в него уже не возвращаться — послѣ уроков прямо к Красавцу.

Глѣб попрощался с кухаркой, за воротами медленно стал подыматься по улицѣ вверх. Сентябрьскій солнечный день, нѣсколько бѣлый — такой острый в запахах из за Оки, даже в стукѣ колес извозчика.

Идти теперь ближе, чѣм раньше в гимназію — с

половины Никольской свернул он в переулок, весь в садах и заборах. Чувствовал себя странно: в самой горечи — бодрость, вчерашнее отжито, Лиза уѣхала. с ней послѣдній отклик домашняго: он теперь полу-взрослый, довѣрен собственным силам... Что-же, посмотрим!

В розовом зданіи, довольно привѣтливом, Глѣб учился уже второй год. Всѣх теперь знал и ко всѣм привык. Все таки каждый раз, подходя, среди десятков дѣтей и полу-юношей в темных шинелях с желтыми пуговицами и желтыми листиками на фуражках, ощущал напряженіе, нервный подъем. Нынче не меньше, чѣм в другой день. Но сегодня был он и острѣе, легче, сильнѣй чѣм обычно.

В гимнастическом залѣ все Училище на молитвѣ — с этого начинается день. «Царю Небесный, Утѣшителю, Душе Истины, Иже всездѣ сый и вся исполняй...»

Отпѣли, разошлись по классам и спустились вниз в рисовальный. Два часа рисованія! Пріятно, да и нетрудно. Михаил Михайлыч — маленькій, с опромною полусѣдою головой, пыхтящій лѣсовик с волосами из ноздрей, ушей, на щеках, на руках. Пальцы от табаку желтобурые. Нѣкогда он учился в Академіи—его кисти в учительской портрет Александра III, его геніем нагнана новая скука на невеселаго Императора. Михаил Михайлыч ходит на маленьких ножках, заложив руки в карманы вицмундирных брюк — точно на нехитрых подставках шествует Голова из «Руслана».

В классѣ густым лѣсом орнаменты, бюсты, гипсовые фигуры. Парты подобіем амфитеатра, окна со ставнями изнутри, чтобы управлять свѣтом. Размѣ-

стившись, разложив папки, рисуют акантовый лист или спираль, кто поспособнѣе — руку, полумаску.

Михаил Михайлыч по очереди подсаживается к художникам, сопит, распространяет запах табаку, подрисовывает, снимает снимкой, мажет растушевою, временами бурчит. Брови над глазками раз навсегда насушены. «Мы не довольствуемся... приближительным изображеніем... мы требуем... тщательной разработки... всѣх планчиков».

Таинственные планчики эти — основа его художества. Свѣтъ на выпуклом мѣстѣ — один планчик. Падающая от листа тѣнь другой. И еще кит — «заборка»: умѣніе тщательно тушевать, снимая липко-смоляной снимкою темныя точки, подтушевывая свѣтлыя.

Глѣб с пріятелем своим Флягиным сидѣл довольно высоко, сзади. Флягин, второгодник, крупный блондин с голубыми глазами, распухшим от насморка носом, сын купца из Мещовска, рисовал лучше Глѣба. Сейчас, посапывая, тушевал голову Артемиды. Впереди и пониже Михаил Михайлыч пыхѣл над рисунком Сережи Костомарова, сына портного с Никитской, худенькаго мальчика с оттопыренными ушами. Сережа рисовал добросовѣстно, как добросовѣстно и вообще учился. На носу его, близ переносицы, выступила капля пота, не унаслѣдованная ли от всего его трудолюбиваго портновскаго рода? Сквозныя уши розовѣли, он казался тоненьким и милым рядом с патлатою головой Михаила Михайлыча. Глѣб чувствовал себя остро, нервно. Ему все было смѣшно. Нервная смѣшливость нападала на него теперь нерѣдко.

Ученик Толиѣров неожиданно ухватил сзади Фля-

гина подмышки. Тот глупо рывкнул. Глѣб захохотал, шовалился на рисунок головою.

Михаил Михайлыч, с растушевкою в рукѣ, обернулся.

— Послушайте... м-м-м., перестаньте тотчас-же смѣяться...

Глѣб еще сильныя фыркнул ему прямо в нос.

Михаил Михайлыч засопѣл угрожающе.

— Если вы... немедленно не прекратите... бессмысленнаго смѣха... мѣшающаго моим занятіям... я вам поставлю неполный балл за тушеваніе. Флягин... а вас, при продолженіи непонятных мнѣ... рыканій..., я немедленно удалю из класса.

— Да я ничего, право ничего, Михаил Михайлыч...

Флягин стоял, хлопал бѣлесыми глазами, обдергивал из под пояса свою куртку.

Михаил Михайлыч оборачивается вновь к рисунку, планчикам, заборкѣ. Как удаляющійся гром бурчаніе:

— Бессмысленный шум... препятствует..., моим классным занятіям.

И опять все в порядкѣ. Карандаши рисуют, снимки щелкают, растушевки тушуют. Михаил Михайлыч, несомнѣнно, безобидный человек.

А в назначенный час бьет звонок. Подымаются, стуча попитрами, собирают пожитки и наверх, в класс обычный. Десять минут перемѣны — урок исторіи.

Василій Иваныч невысокій блондин с козлино-курчавою бородкой. Когда входит, в глубинѣ легкое бляеніе: давно, прочно, для младших как и для старших, Василій Иваныч вовсе не Каплин, а Козел.

Никто против него ничего не имѣет, но право блеять при его появленіи — право давнее, укоренившееся. Странно представить себѣ, чтобы Козел запротестовал.

Он и не протестует. Как всегда он шокорен, уныл, равнодушен. Поправит фалду, протрет золотые очки, сядет у своего столика, разложит журнал... Куда пойдешь, кому скажешь? Что может быть интереснаго среди этих двадцати полу-юношей, которых надо вызывать, спрашивать у сына лавочника о Католической реакціи, у сыновей портных о Карлѣ Пятом?

Во второй половинѣ урока Козел сам рассказывает. Он ходит медленно от окна к двери, медленно разговаривает как-бы с собою самим — знает, что никто не слушает. Знает, что всѣ знают о недостатках его рѣчи, путанности ея и несвязности.

— Тогда Император... вот это как... утомившись от дѣл управленія... ну, от дѣл... он и рѣшил поселиться в монастырѣ... как его... ну, там в монастырѣ святого Юста. Флягин, о каком это я Императорѣ... как там... вот это как... рассказываю?

Флягин писал письмо гимназисткѣ. Вскочил, как спросонья, толкнул Глѣба вбок. И к удивленію своему Козел слышит, что дѣло идет о Карлѣ Пятом. Мало того — не очень складно, сморкаясь и слегка гундося, громкоговорителем сообщает Флягин нѣчто о могуществѣ Карла, его арміях, флотѣ.

— Да, ну... флотѣ. Хорошо... а кто до него по Ан-тлантическому океану плавал для открытія... там... ну?... неизвѣстных... чего неизвѣстных? Земель. Неизвѣстных земель.

Флягин докладывает, что Колумб — с таким видом, будто лично был с ним знаком.

— Ну, Колумб плавал, вѣрно. Это вам подсказывают. Я слышу... вот это как. Колумб плавал.

— Бэ-э-э, — раздается из глубин. — Атлантический! Козел!

Козел знает, что никогда правильно не произнеси ему «Атлантический», знает, что над ним смѣются, но привык. Он себѣ тянет-тянет. Идет лошадь в юбозѣ, нечего по сторонам глазѣть, тащи да тащи, а стеганут кнутом — махнешь хвостом да и дальше.

На большой перемѣнѣ из за хорошаго дня выпускают на полчаса в сад. Тут ѣдят реалисты свои завтраки — первая половина уроков кончилась.

Глѣб гулял в саду по аллеякѣ с Сережей, под мягким солнцем, в бѣгущих, играющих, текучих тѣнях кленов порѣдѣвших. Церковь Иоанна Предтечи за деревянным забором, на той сторонѣ переулка. Розовое под зеленою крышей Училище, розовый дом директора, молодость, блеск сухих паутинок по травѣ — слюдяной и серебристой — горькій воздух, шуршащiе под ногой листья...

Глѣб в нѣкоторой задумчивости входил в класс послѣ звонка. Солнце золотой полосой легло на рукав его куртки, когда он сѣл на свое мѣсто, в этом теплѣ была ласка, нѣжащiй и волнующiй привѣт. В окнѣ верхушки кленов. Над ними лазурь, там вспыхивали порывы вѣтра, листья клонились, нѣкоторые косым цвѣтным дождем летѣли вниз. Там вообще все было странное и чудесное, начиналось оно тотчас за окном.

Тот-же мiр, в котором находился Глѣб, вдруг стал кошмаром. В дверях показался с журналом ста-

ричек, в вицмундирѣ, со свѣтлыми, нервными глазами, в них безпокойство. Еще бы не безпокоиться...

Глѣб знал уже все это. Мсье Бодри полубольной француз, полу-нормальный, доживающій послѣдніе дни до пенсіи. Картина всегда одна.

— Que j'eusse, que tu eusses, qu'il eût, пѣл класс хором. С задней парты вылетѣла бумажная стрѣла и описала дугу над головою Бодри.

— Que nous eussions, que vous eussiez...

Француз медленно поворачивал голову к неприятелю, окидывая его взором артиллериста, опредѣляющаго дистанцію. Изогнувшись, вдруг тигром кинулся к столику, хлопнул по нем журналом.

— Замолшать!

Из дальних окопов открыли огонь бумажными фунтиками с чернилами — одни летѣли в потолок, другіе шлепались в доску. Собственно, это уже не урок, а сраженіе. Француз бросался от одной парты к другой, стучал кулаком, хлопал книгой... — сзади тотчас хохот, свист, вой.

— Замолши, негодяйчик!

Бодри размахивает линейкой.

— Стань в угол, мерзавец! Выйди тотчас вон из класса.

— Гы-ы-ы...

Бодри, весь в поту, кидается на правый фланг.

— Я тебя знаю, негодяй! Твой отец в тюрьмѣ сгнил!

— Сгнил, сгнил... Сам, француз, сгнил...

Глѣб сначала смѣялся, но быстро надоѣло. Ни он, ни Сережа в бою не участвовали. Флягин тоже — доканчивал письмо гимназисткѣ.

А солнце передвинулось. Его благодать теплила и

золотила теперь глѣбова сосѣда. Лазурь разгулявшася дня была все такую-же за окном. Хотѣлось окно отворить и уйти. Куда? Не все-ли равно!

Урок до звонка не дожил. Бодри выскочил со своим журналом в корридор — не прямо-ли в сумасшедшій дом?

Сереза обтер с носа капельку пота.

— Чорт знает что!

Александр Григорыч вошел в класс тотчас послѣ звонка. Всѣ встали. Высокій, худоватый. Вицмундир застегнут на всѣ пуговицы. К столу приблизился с видом таинственным, сѣл, заложил руку назад, стал ею слегка подбрасывать фалду — точно махал хвостом. Умные каріе глаза переходят с лица на лицо. Временами слегка расширяет он их, яснѣй виден радужно-выщѣтшій зрачек, и все молчит. Приглаживает рукою на боковой шпобор раздѣленные волосы и все смотрит.

— Очень хорошо! И... (расширив опять глаза)
— и очень хорошо! Великолѣпно.

Стало совсѣм тихо.

— Юноши пятнадцати лѣт, ученики реального училища, будущіе инженеры, техники, агрономы... Вмѣсто того, чтобы выслушивать преподавателя, ведут себя как уличные мальчишки (совсѣм грозно расширил глаза), издѣваясь над старым преподавателем, устраивая безобразную оргію — и это мой класс! Я классный наставник. Благодарю! Да. Признателен. Превосходно! Но предупреждаю: кто хочет заниматься скандалами, для того есть еще время подать прошеніе об увольнении... Педагогическій совѣт не станет возражать. Не станет-с. Гарантирую. На листѣ почтовой бумаги написать: По состоянію здоровья

прошу уволить меня из Калужскаго реального училища. И конец. И все-с. Гербовых марок не надо!

Он встал, провѣрилъ рукой, хорошо-ли застегнуты на груди пуговицы вицмундира — и подойдя к первой партѣ взоромъ заклинателя змѣй обвелъ класс. Змѣи молчали. Такъ длилось с минуту. Он на каждомъ направлялъ взоръ.

— И отлично с. Уволим. Умолять остаться не будем-с.

Он сдѣлалъ рукой жестъ в направленіи дверей — приглашал. вѣрно, в канцелярію.

Потомъ перевелъ духъ, в том-же застегнутомъ вицмундирѣ сѣлъ за свой столъ.

— Весь классъ безъ обѣда. На часъ задержан. При малѣйшемъ шумѣ — на два. При новомъ шумѣ — на четыре, и такъ далѣе, в геометрической прогрессіи. В геометрической! И никакахъ оправданій. Никакихъ оправданій.

Лицо его приняло выраженіе спокойной отдаленности. Будто по нѣкимъ параболамъ улеталъ онъ в ледяныя пространства. И голосомъ безличнымъ произнесъ:

— Филипченко. Объемъ усѣченной пирамиды.

Коротконогій, угреватый Филипченко вышелъ к доскѣ, сталъ рисовать мѣломъ усѣченную пирамиду. Александръ Григорьичъ сѣлъ в профиль к классу, подперъ рукою голову и закрылъ глаза. Лицо его было блѣдно и утомленно.

Время-же текло. Солнце совсѣмъ отошло отъ Глѣба, ушло и изъ класса, в упоръ освѣщало домъ директора. Глѣбъ мало занятъ былъ усѣченной пирамидой. Прохладно, почти равнодушно отнесся и к тому, что придется сидѣть лишній часъ. Онъ смотрѣлъ в окно. Лазурь... Хорошо-бы достать холст, краски и попробовать написать всю эту прелесть.

Красавец привык дѣйствовать самостоятельно. Но прежде чѣм окончательно рѣшить вопрос о Глѣбѣ, его переѣздѣ к ним, спросил жену. Олимпиада мало знала Глѣба, встрѣчала всего два раза — отнеслась вполне равнодушно.

— Пускай живет. Только чтобы мнѣ не мѣшал.

Красавец объяснил, что племянник у него шумный и «серьезный»: его еще в дѣтствѣ звали Herr Professor.

— Это мнѣ все равно. Какой там профессор, мальчишка, конечно. Только чтобы нос очень не задирал, не важничал: терпѣть этого не могу.

Красавец поцѣловал ее в шейку.

— Душечка, об этом говорить не приходится. Глѣб — мой племянник, нашей породы. Слѣдовательно, воспитанный молодой человек.

— Вот и пусть у себя в комнатѣ сидит, уроки учит. Воспитанный, так и слава Богу.

В первый-же день воспитанный молодой человек явился из Училища опоздав на час.

Глѣб считал уже себя довольно взрослым, той затурканности, как в гимназiи, у него не было, все же показалось неприятным, что на новом мѣстѣ появляется он отсидѣвъ лишній урок.

Красавца дома не было. Его встрѣтила Олимпиада, по домашнему в капотѣ — свѣжая, здоровая, жевала тянучку — совершенно покойная.

— Твои вещи привезли нынче со Спасо-Жировки. Все там у тебя в комнатѣ.

И как хозяйка — не враждебная, но и довольно безразличная, провела Глѣба на новое его жильѣ. Об опозданiи даже не спросила.

Глѣб увидѣл кожаный чемодан свой. Да, значит уж поселился.

Он всетаки был нѣсколько смущен.

— Вы знаете, у нас в Училищѣ вышла сегодня такая глупость, такое безобразіе...

И рассказал о Бодри.

Олимпиада доѣла тянучку, повела на него великолѣпным своим синим глазом.

— Это все чепуха. На то и мальчишки, чтобы учителей дразнить. Меня самое сколько раз в гимназиі без обѣда оставляли. А ты... вон скоро будешь взрослый, за гимназистками начнешь бѣгать, по углам цѣловаться... Только уж пожалуйста, никакой не Нетт Professor, первый ученик. Не люблю тихонь.

Она улыбнулась, довольно даже одобрительно.

— Комната, кажется, ничего себѣ? Умойся, приходи в столовую. Дуня накрывает.

Глѣб без затрудненія выполнил программу. Комната его, хоть и во двор, большая, свѣтлая. Да и вообще квартира славная — свѣжее все, заново отдѣланное, добротное. Просторно, паркеты сияют, фасад на Никитскую, напротив церковь. Дом угловой — другія окна в переулочек (глѣбово тоже). Ему понравилось в этом новом вѣздѣ нѣчто взрослое, сам он себѣ показался крѣпче, самостоятельнѣй. Да, он почти «молодой человек». Близкой семьи нѣтъ, но живет у дяди, какой он ни на есть Красавец, всетаки доктор извѣстный, у него молодая жена... — Тетушки должны быть много старше, толстыя и добродушныя, и скучныя. Значит, не всегда вѣдь так...

В столовой был накрыт для Глѣба прибор. Олимпиада сидѣла в качалкѣ у окна, выходившаго на Ни-

китскую — слегка покачивалась, читала газету. Часы тикали. Глѣб молча ѣл суп. Подымая голову, разсматривал Олимпіаду.

Она совсѣм была еще молода и недавно замужем, но вполне вошла в роль — так-бы и быть сѣ дамой калужской, наигрывать на роялѣ «Молитву Дѣвы», читать романы Мордовцева, философствовать с молодыми людьми о томъ, что лучше: имѣть и потерять, или ждать и не дожидаться. Главное-же, ѣсть, ѣсть... — за кофе розанчики, за обѣдом индюшек и пироги, за дневным чаем торты, среди дня конфеты. Олимпіада была вся крѣпкая и сильная, здоровой кушечкой закваски, обильно созданная — женскую стихію ея Красавецъ вѣрно почувствовал, не разочаровался.

Олимпіада отложила газету, обернулась к Глѣбу.

— Тебѣ плохо тут будет по Никитской шататься. Я люблю у окна сидѣть и все вижу. Кто кого ждет, кто за кѣм ухаживает.

Глѣб усмѣхнулся, но не смущенно.

— Да я по Никитской вовсе и не шатаюсь.

— Почему-же это?

Олимпіада спросила таким тоном, будто Глѣб дѣлает странный промах.

— Неинтересно.

Олимпіада протянула к столу руку, взяла маленькій серебряный портсигар, вынула папиросу, неторопясь закурила. Не мѣняя позы пускала дым то из ноздрей, слегка вздрагивавших, вниз, то изо рта — под малым углом вверх. Все это имѣло такой вид, что вот прочно, у себя дома молодая, пріятная женщина курит и покачивается в качалкѣ и никакой силой ея не сдвинешь, что-то она свое чувствует, о чем-то думает, очевидно нехитром, но неколебимом,

как неколебима сама Калуга, всѣ Терехины и Фирсовы, Коноплины, Ирошниковы — во всѣх лавках, магазинах и лабазах.

— Неинтересно! А что-же тебѣ интересно? Учиться? Ты, говорят, хорошо учишься?

Тут Глѣб почувствовал нѣкоторое смущеніе. Даже чуть покраснѣл.

— Да, учусь хорошо. Но... — слегка запнулся, а потом все-таки досказал:

— Это мнѣ тоже неинтересно.

Олимпиада пустила весь дым в его сторону.

— Понимаю. Сама терпѣть не могла учиться... Значит, ты вовсе не такой первый ученик, как о тебѣ рассказывают. Тѣм лучше.

Глѣбово смущенье оттого еще происходило, что ему казалось — вот сейчас она начнет спрашивать, допытываться, кто он, да что он... Глѣб меньше всего желал-бы отвѣчать на такіе вопросы. Он еще основательнѣе уткнулся в ѣду, опустил занавѣс и теперь уж нельзя было-бы дознаться, что за этим занавѣсом: молча сидѣл и ѣл ученик пятого класса Калужскаго реального училища — худенькій, с довольно большою головою, нѣжным цвѣтом лица и прохладными глазами.

Олимпиада, впрочем, не приставала. Она покуривала, покачивалась в качалкѣ, посматривала на Никитскую. «С кѣм это мадам Левандовская?» Жена акцизнаго проходила по той сторонѣ с молодым человеком, котораго Олимпиада не знала. Завела себя когонибудь? Ну, на здоровье. Запомним, но разстраиваться не будем. Впечатлѣній довольно много: прокатил на нарядной парѣ Каштанов, розовый сѣроглазый купчик (навѣрно к «своей» — всегда в эти

часы ъздил), прошел тоненькій поручик-артиллерист. Капитан Ингерманландскаго полка Длужневскій, красный, с рыжими усами, сильно выпивающій, прополз с худощавою женой — неинтересно. Наконец, подкатил на резинках и Красавец — у него начинается пріем.

Красавец разъѣзжал по больным в палевых перчатках и довольно странном матовом полу-цилиндрѣ — считал, что это придает ему солидность. Глѣб доѣдал печеное яблоко, когда душистый, оживленный, слегка покачивая брюшком на тоненьких ножках в лакированных ботинках, вошел дядюшка.

Увидѣв Глѣба, распахнул объятія.

— Ну, вот! Вот и милый юноша под моим кровом. Рад видѣть!

И важно выпятив губы, наморщившись, как любила изображать Собачка, поцѣловал Глѣба в щеку.

— Надѣюсь, что Олимпіадочка хорошо тебя поселила? Сын дяди Коли у меня, как в своем домѣ. (Красавец всегда называл брата «дядя Коля»).

Глѣб поблагодарил: все отлично. Олимпіада чуть чуть улыбнулась.

— Оказывается, Глѣб вовсе не такой зубрила, как я думала.

Красавец был уже возлѣ нея. Для такого русско-польскаго пана грѣх было-бы задержаться, опоздать к «мурмуровой» ручкѣ шани.

Красавец получил и ручку и сахарную шейку, и с другой стороны шейку — послѣ скучных больных надо-же нравственно встряхнуться, тѣм болѣе, что через нѣсколько минут опять больные — теперь в его кабинетѣ.

К нѣжностям Красавца отнеслась Олимпіада не

враждебно, но и без подъема: обычное и каждодневное. Она взяла со стула афишу, помахала ею пред лицом Красавца.

— Видишь? Открывается сезон. Чтобы ложа нам была, абонемент.

Красавец откинул назад остатки волос на головѣ, губы сложил трубочкой, величественно заявил:

— Душечка, не безпокойся.

Потом обернулся к Глѣбу.

— Олимпиадочка и сама поет. Какой голос! Вот ты услышишь... меццо-сопрано.

Олимпиада поднялась, расправила могучее свое тѣло — корсет слегка хрустнул. В передней раздался звонок.

— Иди, иди к своим больным.

Красавец еще раз поцѣловал ей ручку и тотчас — уже с другим, дѣловым видом, нахмутив лоб, в сознании докторской своей значительности, вышел: с пациентами будет он или покровительственно-важен (если бѣдные), или слегка развязан (с дамами средняго возраста), или — если особа с вѣсом — почтителен, даже заискивая. Мудрость жизни постиг Красавец давно. Но шляхетную спѣсь да и женолобiе удалить из него могла-бы лишь могила.

Глѣб пошел к себѣ. Олимпиада в залу, за рояль. И довольно скоро стали доноситься оттуда переливы ея низкаго, не без прiятности, голоса:

«Ми-и-лая, ты услышь ме-ня,

«Под окном стою-у-у, я-а с ги-та-ро-ю!»

Глѣб раскладывал свои книжки, учебники, карандаши, краски. Развѣшивал в шкафу скромное ученическое снаряженiе. Вынул фотографiю матери: все

правильно. все в порядкѣ. Взгляд матери не мог объяснить смысла цѣли Глѣбова существованья. но говорил безмолвно, на языкѣ убѣдительнѣйшем, что хоть и нельзя понять, но дѣлать надо слѣдующее: учиться. ибо так заведено — и отец учился, и она сама. Жить — сохранять порядочность, благообразіе. Это благообразіе было главной чертой самой матери. Не стараясь навязывать, неизмѣнно отпечатывала она его во всѣх, кто с ней встрѣчался. И вот мать пришла уже в жизнь Глѣба, обликом для сравненія: что близко к ней или похоже, что одобрила-бы она, то хорошо. Что нѣтъ — плохо.

«Та-ак взгляни-и-жь на меня,
«Хоть од-дин только раз
«Яр-р-че майскаго дня
«Чу-удный блеск твоих гла-аз!
«Ми-и-лая, ты услы-шь ме-и-я...»

Глѣб был нѣсколько возбужден, взволнован. Станный, пестрый день! Уроки готовить не хотѣлось — рѣшил пройтись, пока еще не стемнѣло.

На Никитской было прохладно, сентябрьски-прозрачно, верхи старинных, с каменными аркадами и зубцами торговых рядов, времен Екатерины, пламени в закатѣ — скоро угаснут. Глѣб спустился по улицѣ вниз, мимо гостиницы «Кулон», гдѣ останавливались помѣщики, пріѣзжіе артисты-гастролеры, инженеры. Пересѣкъ большую площадь, в направленіи к Собору: с трех сторон очерчивали его, прямо-угольником, присутственныя мѣста и Семинарія. С четвертой — городской сад. Глѣб именно туда и шел. Олимпиада сказала-бы: на свиданіе — и ошиблась бы. Просто прошагал главной аллеей лип к пло-

щадкѣ над Окой. Сад, с кіоском для музыки, довольно густой и теперь уже темнѣющей (гуляющих сейчас мало), остался позади. Глѣб на площадкѣ над рѣчкой. Рядом пестренькій ресторан «Кукушка» — павильон, куда гимназистам и вовсе нельзя входить. А внизу Ока. Течет справа налево, в верховьях ея Орел. По широким лугам, принимая в себя Угру, Яценку, подходит она к Калугѣ.

Когда Глѣб смотрѣл теперь вправо, гдѣ за Окою и бором заходило солнце, ему казалось, что рѣка идет из удивительных просторов, сама-собою, без конца-начала. Так она шла в раннем ето дѣтствѣ, мимо частокола будаковского сада, так-же будет идти, когда самое имя его истлѣет и уйдут всѣ кого он любил. А сейчас протекает эта Ока мимо Калуги теперешней, и он жив, все чего-то ждет. Там, влево — пристань у понтоннаго моста, гдѣ все еще стоят: «Князь Владимір Святой», «Екатерина»... Ниже Спасо-Жировка, два года жизни его, нынче утром еще нѣчто дѣйствительное, а сейчас уж видѣніе, как и тѣ Будаки и Авчурино, как Алексин, Рязань, Илев: смутно мелькнуло все это в его мозгу.

Глѣб стоял и смотрѣл. Солнце садилось. Баржа медленно шла по Окѣ. Кое гдѣ огоньки зажглись — в слободѣ за рѣчкой, в Ромодановском, направо на взгорьѣ. Родина разстилалась пред ним в спокойном приближеніи ночи.

**
*

Калуга город старинный, выросшій на берегу Оки с той-же естественностью, как таинственной силой дуб выгоняется из жолудя. Медленно, столѣтіями заквашивалась и всходила жизнь — не особенно бурно:

всегда, кажется, находилась Калуга в сторонѣ от русл главных. Главное происходило неподалеку, всетаки и не здѣсь. В смутное время участь Россіи рѣшилась сѣвернѣе — но здѣсь жила одно время Марина Мнишек, дом ея сохранился. Пытался двинуться сюда Наполеон, но не дошел — видно, судьба мѣста этого была скромнѣе и незамѣтнѣй. И весь вѣкъ девятнадцатый полусонно прошел над Калугой. Навѣрно, не одна жизнь человѣческая протекла здѣсь с достоинством — а извѣстен ли скромный герой Калуги, рядовой Архип Осипов. Всетаки общій дух города на Окѣ, с торговлею полотном, веревками, с баржами, плотами, ципулинскими пароходами к концу девятнадцатаго вѣка слишком уже отзывал безвѣтріем.

Такая, другая-ль была Калуга, именно здѣсь надлежало проходить юным годам ученія Глѣба. Пока жил на Жировкѣ, чувствовал он себя еще на родном островкѣ — мать, Лиза, Соня-Собачка, это свои, дѣтски-семейный мір. Теперь, на Никитской, своего ничего не осталось, а Калуги появилось много — чуть не вся жизнь Красавца прошла тут, Олимпіада-же просто порожденіе города. С дѣтства возрастала в семьѣ купеческой, не из богатых, но с достатком, среди ситчиков отцовской лавки в торговых рядах, училась в гимназіи калужской, гуляла по Никитской с гимназистами, рано начала цѣловаться с офицерами, лакомилась калужским тѣстом — произведеніем медвяно-мучнистым, очень тогда прославленным (вряд-ли кому, кромѣ калужанина записного, могло-бы оно понравиться).

Нельзя сказать, чтобы Глѣбу Олимпіада была непріятна, или стѣсняла его. Молодая и синеокая, бѣлорукая, держится просто, почти шо товарищески,

разгуливает в халатах, ѣст тянучки, напѣвает в залѣ за роялем сантиментальные романсы... — взрослая тетушка, называющая его «ты», нѣчто в этом и нравилось. Все-же Глѣбово бытіе наглухо отдѣлялось и от Олимпіады, и от Красавца, и от Калуги.

Олимпіада мало чѣм кромѣ себя занималась, но и она это замѣтила.

— Я тебя всетаки не пойму, сказала ему однажды: что ты за такой за малый? Что у тебя на умѣ?

Глѣб усмѣхнулся.

— Ничего.

— Нѣт, это ты врешь. Ты очень приличный, вѣжливый... Нѣт, всетаки...: почему тебя в дѣтствѣ звали Herr Professor?

— Это один нѣмец придумал...

Олимпіада осталась при своем: приличный, вѣжливый... но со странностями. И тордый.

Глѣб, однако, ничего страннаго не дѣлал. Он просто выходил из дѣтски-отроческаго, не достиг еще взрослости, был томим и возбужден — и переломным своим возрастом, и одиночеством, и нелюбовью к дѣлу, которым занимался — лишь самолюбіе, желаніе первенства подталкивали. В одном Олимпіада была права: Глѣб, хоть и держался вѣжливо, но того чувства превосходства, которым был отравлен с дѣтства, скрыть не мог. Оно не давало ему радости. Скорѣе, даже, накладывало на одиночество его еще большую черту горечи — отдѣляло, уединяло.

К счастью, Олимпіада мало обращала на него вниманія и не была самолюбива — иначе могла бы и возненавидѣть.

О том, как ему жить самому, чѣм заниматься, ду-

мал он и раньше. Теперь входил в возраст, когда начинаст волновать и другое, обширѣйшее: что такое человек, для чего живет, что за гробом, есть ли бессмертіе. Рѣдко ли, часто ли возвращался он к этому, но вопрос в нем сидѣл — то заглушаясь, то обостряясь. Отвѣтить на него он не мог, как и не мог представить себѣ своей смерти: вѣрнѣе, жизни всего вокруг без себя. Легко было вообразить его, Глѣба, в гробу, но какой-то другой, неумершій Глѣб смотрит на него со стороны — этого Глѣба невозможно погасить. Мір не может существовать без диковатаго гимназиста из Калуги! Уходит ли этот гимназист безслѣдно? Безслѣдно ли гибнут тѣ, кого любил?

Разсуждать обо всем этом было не с кѣм. Сосѣд Флягин занят гимназистками и еще женщинами попроще, Сережа Костомаров погружен в уроки, его красныя симпатичныя уши, бобрик, капелька пота на веснушчатом носу — все это отдано наукѣ, о бессмертіи же он отвѣтит только если это задано о. Парфеніем «к слѣдующему разу». Тогда слово в слово, по катехизису, отвѣт даст, равно ч и о том, что такое вѣра. Вообще если «задано», то на все отвѣтит. Оставался сам о. Парфеній, но он преподаватель.

О. Парфенія не так давно назначили в Училище. Было извѣстно, что он академик, хотя довольно молодой, но уже в городѣ извѣстный. Высокій, очень худой, с сѣрыми огромными глазами, в коричневой рясѣ, сверх которой большой золотой крест... Мало похож на учителей вродѣ Козла, Михаила Михайлыча, Бодри. В класс входил медленно, большими шагами, слегка запахивая рясу, худой рукой придерживая журнал. Класс вставал. Читали молитву. Мол-

ча крестились, начинался его час. О. Парфеній откидывал рукою густые волосы, садился боком, слегка горбясь, нерѣдко рассказывал. Спрашивал и уроки. Глѣба поражало его спокойствіе. Трудно представить себѣ о. Парфенія раздраженным — Глѣб его и не видѣл таким. Но в молчаніи его и во взглядѣ было тоже не совсѣм простое: конечно, он знал нѣчто, чего не знали Глѣб, Флягин, Сережа Костомаров. Иногда лицо его было доброе и задумчивое, иногда вдруг проступало и иное — слегка насмѣшливое, скромно-высокомѣрное... «Да, вы этого, разумѣется, не запомнили. Вѣрнѣе — и не прочли. Да, конечно, конечно...» Привык, и не удивляется чело-вѣческой нерадивости, равнодушію. Естественно вѣдь, что пухлый блондин Флягин с полипом в носу, часто сморкающійся, мало занят загробной жизнью.

Глѣбу о. Парфеній нравился. Отношенія у них были хорошія, но напряженныя. Может быть, они друг другу были нужны, друг друга беспокоили. Глѣб находился в том настроеніи ранней юности, когда все хочется самолично пересмотрѣть, удостовѣриться, потрогать руками. Если-же не выходит, долой. Истина должна быть моею, или никакой. И так как представить себѣ до конца безконечность, смерть, «инобытіе» невозможно, Глѣб склонен был, вопреки о. Парфенію с его коричневою рясой, все это отрицать. Его и тянуло, и мучило, и отталкивало. Говорить открыто с о. Парфеніем было нельзя, — о. Парфеній начальство, а религія обязательна, как математика, русскій язык. Явно несоглашаться с о. Парфеніем насчет безсмертія или ада так-же бессмысленно, как с Александром Григорьичем касательно площади круга.

О. Парфеній занимал и тревожил Глѣба. В нем чувствовал он сильнаго защитника того, в чем сам сомнѣвался или склонен был отрицать. Тревожил и Глѣб о. Парфенія — тѣм, что именно в нем, лучшем ученикѣ класса, ощущал он скрываемое противо-дѣйствіе. С другими было шопроще, но и безнадеж-нѣй. Выучил урок и отвѣтил. Велят пойти в церковь — сходит. Глѣб-же что-то переживал, а направлено у него это в сторону. Можно было считать, что у него есть свои собственные вкусы и взгляды, пусть и мальчишескіе, но упорные.

Однажды ученик Ватопедскій, при повторитель-ном курсѣ Ветхаго Завѣта, рассказывал о пророкѣ Елисеѣ. Когда дѣло дошло до исторіи с его лысиной, дѣтьми, посмѣявшимися над ней и медвѣдем, кото-раго Елисей на них выпустил, Глѣб довольно громко сказал:

— Какая жестокость!

Сереза с удивленіем поднял на него свѣтлые, по-корные глаза. О. Парфеній таинственно улыбнулся. Эту улыбку можно было перевести на русскій язык так: «Всегда найдутся, конечно, задорные мальчики, готовые исправлять Ветхій Завѣт, но от этого он не проицрает».

Ватопедскаго о. Парфеній прервал и со слегка играющей, даже как бы змѣящейся улыбкой, погла-живая золотой наперстный крест, стал говорить о том, как легкомысленно подходить к Ветхому Завѣту с сегодняшними мѣрками. Это другой мір, и до при-шествія Спасителя душа человѣческая была иная. В том-то и величіе Новаго Завѣта, что отмѣнено вет-хозавѣтное «око за око».

Глѣб опять вмѣшался.

— А тут и не око за око. Они только посмѣялись, а он уж медвѣдя. Какое-же око?

Сережа взял под партой Глѣба за колѣнку. Милые глаза его выражали почти ужас. Глѣба-же точно подмывало — раздражала невозмутимость о. Парфенія. О. Парфеній посмотрѣл на него с тою-же снисходительной усмѣшкой, которая еще болѣе его возбуждала.

— Да и вообще, не нам обсуждать дѣйствія тѣх, кого избрал Господь.

— Я хочу только понять, тихо, но упрямо сказал Глѣб.

Ватопедскій продолжал свой отвѣт. О. Парфеній закрыл глаза, нѣсколько секунд просидѣл так. Потом открыл их, серьезно, внимательно посмотрѣл на Глѣба. Теперь во взорѣ его не было снисходительной усмѣшки. Вновь прервав Ватопедскаго, он обратился к Глѣбу тоже негромко, так что даже не всѣ слышали.

— Быть может, со временем многое такое поймете, что сейчас вас волнует и кажется темным.

На это Глѣб уже ничего не отвѣтил, и ни он, ни о. Парфеній не мѣшали больше Ватопедскому. Тот благополучно кончил повѣствованіе свое. Получил четыре.

А послѣ урока Глѣб сам подошел в корридорѣ к о. Парфенію, медленно и задумчиво бредшему наверх, во второй этаж. Глѣб прямо взглянул ему в глаза — в первый момент они расширились не без удивленности — но тотчас посвѣтлѣли.

Глѣб был смущен, почти робок.

— О. Парфеній, не подумайте, что я хотѣл осуждать, или вообще... мнѣ только интересно выяснить...

О. Парфеній улыбнулся.

— Я и не сомнѣвался.

Полуобняв Глѣба, он взошел с ним на лѣстницу и направился не в учительскую, а в дальній конец коридора, насквозь прорѣзавшаго зданіе. Здѣсь у окна, откуда видны были заснѣженные крыши, сады Калуги, они разговаривали. Глѣб был смягчен, перешел в то настроеніе, когда хочется со всѣм согласиться, и когда даже пріятно ощущеніе чужой власти и авторитета — силы, к тебѣ благожелательной, с которой идти в ногу так радостно. О. Парфеній говорил уже не об Елисеѣ, а о том настроеніи — он назвал его вѣрой — при котором мучительные вопросы сами собою отходят, замѣняясь другим. Глѣбу в эту минуту казалось, что он уже чуть-ли не вѣрит, и это зависит не от того, что какіе нибудь доводы его убѣдили, а от чувства: что-то спокойное, свѣтлое, с чѣм радостно жить, ощущал он сейчас. И понялъ-бы еще больше, если-б о. Парфеній сказал ему, что тогда в классѣ, сначала внутренне раздражившись на Глѣба, он сам во время отвѣта Ватопедскаго обратился к Богу с молитвою — о собственном своем умягченіи... Но этого он Глѣбу не сообщил.

Раздался звонок — уже к слѣдующему уроку. Надо было спѣшить, предстояла математика — Александр Григорьич. О. Парфеній успѣлъ лишь сообщить на прощанье, что скоро Калугу и Училище посѣтит знаменитый протоіерей о. Іоанн Кронштадтскій.

— Замѣчательная личность. Вот кто много может вам дать. Вы увидите!

В дверях класса своего Глѣб почти столкнулся с Александром Григорьичем. Высокій, худой, в застег-

нута вицмундиръ, он имѣл вид загадочный. Не без легкой насмѣшливости, расширив каріе глаза с оранжевым ободком, поджав губы сказал Глѣбу:

— Пора, пора. В класс, в класс. Да, это я говорю! (И любезно усмѣхнулся: нельзя было понять, упрекаст он или поощряет, но впечатлѣніе всегда — точно подстегивает).

— Премѣна окончилась, мой урок! Мой. Класснаго наставника. И богословіе окончено.

Он еще раз клокко улыбнулся, сѣл за свой столик, развернул журнал.

Ватопедскій тоже видѣл Глѣба с о. Парфеніем. Нагнувшись к нему, шепнул сочувственно:

— По поведенію балл сбавляет?

Александр Григорьич вызвал очередного подсудимаго.

Калужскому архіерею, благодушному старику с рыхлыми рукавицами и сладковато-ладанным запахом, продолжавшему заниматься сочиненіем стихов, не особенно улыбался пріѣзд Іоанна Кронштадтскаго. Іерархически он ничто пред епископом. Но о. Іоанн не просто протоіерей. Слава его прошла уже по всей Россіи, а главное, его высоко чтут в Петербургѣ — в Синодѣ и при Дворѣ. По слухам, весьма расположен к нему молодой Государь. Мало-ли что... шепнут здѣсь что нибудь, недовольство выскажут — поди потом, отчитывайся...

Но с этой стороны Владыка мог быть покоен: ни Консисторія, ни приходы, ни епархіальныя дѣла несколько о. Іоанна не занимали. Он пріѣхал к больной, по вызову знакомых, сейчас-же начал разъ-

ѣжать по городу — да и на Подворьѣ у Владыки, гдѣ остановился, сразу появилось то возбужденіе, оживленіе, тот народ, жаждущій его видѣть, что сопровождало о. Іоанна всюду. «Великой духовности іерей», говорил о нем Владыка. «Молитвенник, украшеніе Церкви. Но воодушевленіе иногда и чрезмѣрное. Этакая нервность...» Владыка покачивал головой, находил, что напримѣр «іоаннитки» доходят до болѣзненности — и этим слегка утѣшал то ревнивое чувство, которое у него появилось: о. Іоанн держался с ним почтительно, но сразу заслонил собою все. В эти дни не было в городѣ архіерея, а был пріѣхавшій из Петербурга о. Іоанн Кронштадтскій — и на служеніи в Соборѣ, переполненном как под Свѣтлое Воскресеніе, всѣ взоры, волненіе, обожаніе были сосредоточены на о. Іоаннѣ. В городѣ говорили уже об исцѣленіях по его молитвам, об облегченіи страданій, удивительных исповѣдях и обращеніях. Большинство вѣрило, или относилось сочувственно. Но были и скептики.

Красавец наморщивал губы с видом глубоко-мысленным.

— Без религіи, разумѣется, невозможно. На ней держится общество, государство... Но увлеченія, экстаз... Всѣ разговоры об исцѣленіях, чуть-ли не воскрешеніях я нахожу лишними. В этом безспорно много женской истеричности.

Олимпиада доѣдала борщ, улыбнулась.

— Вот он и выходит тебѣ конкурент, тоже цѣлитель... Смотри, практику отобьет.

Красавец слегка вспыхнул.

— Душечка, совершенно не к мѣсту Я вовсе не о том говорю.

Олимпиада протянула ему через стол бѣлую руку — в перстнях, надушенную, заткнула ею рот и пощекотала пальцем усы.

— Шучу, шучу. Тебя весь город знает. Столько больных как у тебя ни у кого нѣтъ.

Красавец отлобызал ручку и успокоился, как младенец, которому дали соску.

Послѣ слов о. Парфенія об Іоаннѣ Кронштадтском Глѣб ждал его прїѣзда с интересом. Он немного даже готовился. Взял в училищной библіотекѣ книгу Фаррара, с увлеченіем читал об Аванасіи Великом, его борьбѣ с аріанами, приключеніях, скитаніях, о Вселенском Соборѣ. Когда о. Іоанн посѣтит их класс, о. Парфеній, разумѣется, вызовет Глѣба. Вот тогда и покажет, что в Калугѣ тоже кое-что знают и умѣют рассказывать. Глѣб мысленно уже видѣлъ, как о. Іоанн, восхищенный его познаніями, обнимает его, цѣлует и благословляет.

День посѣщенія не был извѣстен. Глѣбу очень, конечно, хотѣлось, чтобы он совпал с уроком Закона Божія — нѣсколько вооружился и в Евангеліи, Ветхом Завѣтѣ, даже и Катехизисѣ, который нелюбил. Подзубрил покрѣпче, что «вѣра есть уповаемых извѣщеніе, вещей обличеніе невидимых».

В среду (Закона Божія у Глѣба как раз и не было) на втором урокѣ вдруг по классам забѣгали надзиратели. Учителя, забрав журналы свои, полусмущенно и полу-испуганно уходили, точно в чем-то были виноваты. Ученики строились парами. «Іоанн Кронштадтскій! Іоанн Кронштадтскій!» Толком никто ничего не знал. Знаменитый священник из Петербурга, а чѣм прославился, что именно дѣлает — неизвѣстно, никто не потрудился рассказать. Ясно

было одно: начальство встревожено. суматоха такая же, как при появлении Окружного Инспектора.

Училище вытянули в два ряда во-всю длину верхняго корридора. Глѣб был доволен, что попал в первый ряд — и он лучше увидит, и его увидят. Ждали нѣсколько минут. Внизу сдержанный глухой гулъ. Надзиратель, вытянувшись на площадкѣ парадной лѣстницы, вторым повернутым маршем выходящей в корридор, сдѣлал вдруг страшные глаза: надзиратели при учениках тоже встрепенулись, грозно замерли — в корридорѣ стало совсѣм тихо. На площадку, к бюсту Александра Ш-го поднялось снизу нѣсколько человекъ, пред ними низко склонился надзиратель. Впереди всѣх худенькій священник в лиловой шелковой рясѣ с большим наперстным золотым крестом, который он придерживал рукою. Лицо очень русское, почти простонародное, с рѣдкою бородкой, полусѣдой, все испещрено морщинками, сложно и путано переплетавшимися — онѣ могли, при нервной выразительности облика, слагаться в тѣ, иные узоры, накидывать свою сѣть, снимать ея освѣщать, омрачать. Но над всѣм господствовали глаза, как-бы хозяева мѣстности. Блѣдно-голубые, даже слегка выцвѣтшіе, несли они легкую, поражающую живость, невѣсомо-духовную, как легок и суховат тѣлом и властными руками был этот о. Іоанн, нѣкоторыми считавшійся почти святымъ.

За ним шел директор, учителя, слегка поблѣднѣвшій о. Парфеній.

Взор о. Іоанна был разсѣян. Он сказал что-то директору — полному, средних лѣтъ математику с бачками — тот отвѣтил почтительно. И о. Іоанн оказался прямо уже перед шеренгою.

— Ну вот, дѣти, ну вот... с вами Божіе благословеніе! Благослови вас Господь!

Глѣба удивил его высокій, рѣзкій и довольно неприятный голос. Будто даже он выкрикнул это.

О. Іоанн перекрестил их широким, летящим крестным знаменіем, пошел вдоль рядов. Лицо его как-бы отсутствовало. Вполголоса он иногда произносил отдѣльныя слова, долетало: «Господи, сохрани... Благослови, Господи...»

Глѣб ждал не без волненія. Старичек поравнялся с ним, шелковая лиловая ряса чуть чуть задѣла. Но о. Іоанн не взглянул на Глѣба. Блѣдно-голубые его глаза, мелкія морщинки на лицѣ мгновенным видѣніем проплыли — и вот уже далеко. Продолжалось обычное: директор, Александр Григорьич, учителя... И лишь в самом концѣ, у окна, гдѣ стоял первый класс, о. Іоанн вдруг остановился.

— Поди сюда, поди рыженькій... ну, ты, вихрастенъкій, выходи...

Сосѣди подтолкнули. Мальчик лѣтъ десяти, в веснушках, с милым перепутанным лицом, выступил из шеренги. Это был сын купца Ирошникова. Фаррара он не читал, учился средне, мечтал лишь о том, чтобы не провалиться на экзаменѣ — тятенька может выдрать. Теперь, когда его выпихнули вперед, сразу рѣшил, что дѣло плохо: какнибудь не так одѣт, шептался с сосѣдями, шевелился...

Но старичек, от бороды и рясы котораго пахло ладаном, ласково к нему наклонился.

— Во святом крещеніи имя?

— Федот, — прошептал молодой хлѣботорговец.

— Федотушка, маленькій... вихрастенъкій. Учись, учись, преуспѣвай. Как в молитвѣ-то сказано: роди-

телям на утѣшеніе, церкви и отечеству на пользу.

Сѣтъ морщинок разѣхалась, улыбка освѣтила все лицо. Он поцѣловал Федота в самый вихор, поднял руку, широким, сіяющим крестом благословил.

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

— Руку цѣлуй, руку... — шептал надзиратель.
— Руку-то, батюшкѣ...

Федот потянулся, едва успѣлъ коснуться губами сухенькой руки. Директор, Александр Григорьевич, о. Парфеній ласково смотрѣли на него — раньше он этой ласковости не замѣчал.

— Один из примѣрнѣйших наших учеников, — сказал директор о. Іоанну, уже повернувшемуся назад, быстро направлявшемуся к лѣстницѣ.

— Примѣрнѣйших, лучших... — разсѣянно бормотал о. Іоанн и вдруг опять улыбнулся. — Всѣ примѣрнѣйшіе. Дѣтки всѣ лучшеіе.

Потом собрал свои морщинки, поправил наперстный крест и неприятным, рѣзким и высоким голосом сказал:

— Душевно благодарю, что показали ваших милых воспитанников. А в данное время тороплюсь. меня ожидают в убѣжищѣ для престарѣлых...

**

Глѣб слишком много думал, даже мечтал об Іоаннѣ Кронштадтском, многое со встрѣчей этой связывал. Если в о. Парфеніи нѣчто нравилось, укрѣпляло, что-же — прославленный о. Іоанн, сердцецѣдец, почти прозорливец... А вот он прошел мимо, торопливо, ничего не сказав. Благословил как обычно священники, вниманіе обратил лишь на Федота. Почему именно на него?

Глѣб был разочарован. Посѣщеніе это не только ничего ему не дало, но будто укрѣпило смутную, не-пріятную в нем самом область, от которой он рад был-бы отдѣлаться.

Через нѣсколько дней, когда о. Іоанн был уже далеко, Глѣбу случилось выйти из Училища вмѣстѣ с о. Парфеніем. Уроки кончились, ученики разо-шлись — Глѣб задержался в библіотекѣ: возвращал Фаррара.

Всю ночь шел снѣг и продолжал еще идти. Его навалило довольно много, весь сад хорошо укрыт, беззвучно, безжизненно, но и свѣтло. Лишь к дирек-торскому розовому дому тропка, да к воротам уче-ники успѣли протоптать цѣлую дорогу.

О. Парфеній был в мѣховой шапкѣ, шубѣ, огром-ных калошах, как всегда худой, шел запахивая одежду на впалой груди, слегка горбясь. Глѣб стѣс-нялся его, хотѣл обогнать незамѣтно. О. Парфеній сам его остановил.

— Какое-же впечатлѣніе произвел на вас и ва-ших товарищей о. Іоанн Крошштадтскій?

Они шли очень медленно, вдоль деревяннаго за-бора. Клены училищнаго сада, гдѣ гулял осенью Глѣб с Сережей Костомаровым, склонялись в снѣго-вой тяжести над переулком. Глѣб чувствовал себя несвободно.

— Он вѣдь так мало у нас побыл...

— К сожалѣнію. Но здѣсь всѣ хотѣли его ви-дѣть. Он не мог долго оставаться в Училищѣ.

Глѣб чувствовал, что в нем что-то подбирается, стягивается.

— Интересно было-бы поговорить с ним... А так что-же... он прошел мимо. Вы спрашиваете, о. Пар-

феній, про товарищей... Им это совсѣм неинтересно.

О. Парфеній шагал медленно, по большими шагами. Сильно горбился.

— А вам?

— Он со мной и слова не сказал! — В голосъ Глѣба что-то дрогнуло.

— А почему-же бы ему именно с вами говорить?

— Нипочему... С кѣм хочет, с тѣм и разговаривает.

О. Парфеній поднял на него глаза, слегка улыбнулся — улыбка эта не была его удачей.

— Но я должен сказать, — продолжал Глѣб, — если вы меня спрашиваете... Он мнѣ вообще представлялся другим.

О Парфеній шел молча. Усмѣшка, которую не любил у него Глѣб, не сходила с лица.

— Другим! — произнес тихо.

Глѣба точно что подмывало. О. Парфеній шагал беззвучно, пухлый снѣг под ним не скрипѣл. Рукой придерживал ворот шубы на впалой груди. Вид у него был такой: «я иду и молчу, но отлично все знаю» — Глѣб это чувствовал и начинал волноваться.

— Получилось вродѣ парада, он как будто начальство... мы ему совершенно не нужны... И голос у него странный... скорѣе даже неприятный... Мнѣ не понравилось.

— Да, уж с этим ничего не подѣлаешь. Каким Бог наградил.

Прошли еще нѣсколько шагов.

— Не думаете-ли вы, — сказал вдруг о. Парфеній, уже без усмѣшки, серьезно, но отдаленно, — что в одних почувствовал о. Іоанн равнодушіе, в

других, равнодушных... — противленіе. И вот благословил Федотика Ирошникова — который, говоря по правдѣ, очень славный мальчик, хотя и мало замѣтный.

Глѣб перебросил ранец из одной руки в другую (в старших классах за спиной носить его считалось уже не нарядным).

— Возможно.

— А в общем жаль, что пребываніе его было столь кратко... Я думал, что он произведет на учеников больше дѣйствія.

— Я тоже от него многого ждал.

О. Парфеній опять загадочно усмѣхнулся.

— Вам, разумеется, хотѣлось, чтобы он на вас обратил вниманіе, с вами говорил...

— Миѣ ничего этого не хотѣлось, — сказал Глѣб: точно дверцей отгородился.

Переулок, по которому они шли, упирался в Воскресенскую, против церкви Іоанна Богослова. Глѣбу было налѣво, о. Парфенію направо. Глѣб снял фуражку и поклонился.

— Какую книгу вы мѣняли сегодня в библиотекѣ?
— спросил о. Парфеній.

— Отдал Фаррара... Там... об Аѳанасіи Великом, Отцах Церкви...

— Хорошая книга. А что взяли?

— Ничего.

— Почему же так?

— Спрашивал Золя, но его в нашей библиотекѣ не оказалось.

— Золя!

Глѣб продолжал тихо, почти с вызовом:

— Придется взять в городской библиотекѣ.

О. Парфеній поклонился и медленно зашагал по Воскресенской вверх. Глѣб — вниз.

**
*

Глѣб мог быть доволен: насчет Золя вышло отлично, с о. Парфеніем держался независимо, в концѣ концов тот ничего ему и не возразил.

Об о. Іоаннѣ Кронштадтском Глѣб сказал то, что думал.

Но хорошаго настроенія не получалось. Он довольно мрачно шагал по Воскресенской, весь побѣлѣвъ от снѣга, тихо и беззвучно заметавшаго эту Калугу.

Когда вошел в переднюю красавцевой квартиры, из залы донеслось пѣніе. Дверь полуоткрыта, за роялем Олимпіада.

Глѣб сумрачно прошел по корридорѣ к себѣ в комнату. Не хотѣлось ни слушать пѣнія этого, ни видѣть никого. Вот его стол, книги, сплошной снѣг за окном, прохожіе в переулкѣ и медленно наползающая муть ранняго вечера. Уроки, учителя!

Положив ранец, он вдруг почувствовал, что никаких уроков к завтрашнему дѣлать не станет, в Училище не пойдет. А что, собственно, дѣлать? Да ничего. Вот взять, юдѣться, выйти в эту начинающуюся метель, да и зайти Бог вѣсть куда...

Пѣніе прекратилось. В корридорѣ шаги, тяжело-ватые, знакомые. Олимпіада отворила дверь.

— Ты что-то нынче позже...

— В библиотекѣ был.

Олимпіада сѣла на край постели, заложила могучую ногу за ногу.

— Хмурый сегодня, господин профессор... как тебя еще в дѣтствѣ звали?

— Никак.

Олимпиада закурила.

— Я понимаю. Тебѣ скучно. Уроки да уроки, учителя эти фазные...

— Нѣтъ, мнѣ не скучно.

Глѣб медленно переходил в то состояніе упорнаго противодѣйствія, в котором сладить с ним было нелегко. Олимпиада курила невозмутимо. Ея синіе глаза были покойны.

— Вот какое дѣло: нынче в Дворянском Собраніи концерт. Замѣчательный піанист этот, пріѣзжій... Забыла фамилію, но молодой такой. Анна Сергѣевна говорит — прямо удивительный. Вот и идем, я тебя беру. Муж Анны Сергѣевны сегодня занят, ему нельзя. Она прислала два билета.

— Какая Анна Сергѣевна?

Глѣб знал какая, но спросил нарочно. Олимпиада объяснила. Глѣб сказал: она вице-губернаторша, билет навѣрно дорогой.

— Это тебя не касается. У нас с ней особенный счет.

Глѣб сперва заявил, что навѣрно ей непріятно будет сидѣть с гимназистом. Потом, что у него много уроков.

— Ну, и садись сейчас-же. Для того и пришла, чтобы тебя предупредить.

Глѣб возразил, что не успѣет, а если успѣет, то *может быть* поѣдет.

— Экій Байронович упрямый, — равнодушно сказала Олимпиада. — *Не может быть*, а просто к восьми надѣвай мундир. И все тут. Вѣдь мундир

есть? — И никаких гвоздей, — прибавила она вдруг довольно круто. — Не разводи нюни.

Глѣб пытался-было еще так защищаться: он должен получить разрѣшеніе от начальства, а теперь уже поздно... Но Олимпіада встала, расправила великолѣпное свое тѣло, потянулась и не слушая его, сказала, что в половинѣ восьмого у подъѣзда будет извозчик и одной ей ѣхать нельзя.

Когда она вышла, Глѣб почувствовал облегченіе. Он почти рад был ѣхать, не надо лишь этого показывать... Анна Сергѣевна очень изящная дама, он это знал, Олимпіада ей помогает на базарах благотворительных, в человѣколюбивых начинаніях. Красавец у нея завсегдайт, играет в винт, лѣчит. Жутко немножко, что такая сосѣдка, но и занятно, конечно.

Уроки он сдѣлал быстро, все теперь шло по иному. В седьмом часу занялся собою — с видом жертвы, против воли ведомой на закланіе. Однако, агнецъ вымылся, причесался, надѣл крахмальный стоячій воротничек, вычистил юднобортный свой мундир. Надѣв его, все вертѣлся перед зеркалом: крахмальный воротничек должен ровно-узкой полоской выдаваться над мундирным воротником, — а на горлѣ маленькій черный галстучек. Несмотря на «мрачное» настроеніе Глѣбу нравилось, что он наряден, блѣдноват, что когда садится, надо расправлять фалды мундира: точно он молодой офицер.

Если-бы Соня-Собачка видѣла его сейчас, могла бы похохотать с Лизой и подразнить. Но ни Сони, ни Лизы не было, Олимпіада хоть и запросто держится, все-же совсѣм другая, никак и никогда не своя. Впрочем, для сегодняшняго вечера это и лучше. Глѣбу нравилось, что он выѣзжает с молодой и

нарядной дамой, старше его однако, и не такой приятельницей как Соня, Лиза. С ней выходит парадіфе.

В началѣ восьмого он подошел к комнатѣ Олимпіады. Не спѣша, не раздумывая, отворил дверь. У большого трюмо горѣли свѣчи, Олимпіада, спиной к Глѣбу, пред зеркалом, как раз в эту минуту подняла вверх руки с легким в них платьем — блеснули бѣлыя ея плечи, голая спина, кружевное бѣлье — но мгновенно платье сверху закрыло все.

Увидѣвъ Глѣба, она усмѣхнулась, отошла за ширму. Глѣб смутился.

— Виноват, извини...

— Ничего. Опоздал, профессор. Если бы минуты на двѣ раньше... а то опоздал.

Олимпіада пошуршала за ширмой, вышла розовая, вся свѣжая и благоухающая, легкая даже в крупности своей. Улыбнулась весело, оживленно.

— Чего там. Все в порядкѣ.

Взяв с туалета флакон, опрокинула на руку, подушила Глѣбу лоб, шею, мундир на груди.

— Вот и отлично. Мундирчик хоть куда. Значит, ѣдем.

Подошла к окну, отдернула шпёртьеру.

— Кузьма подал. Смотри пожалуйста, стихло, и даже луна.

Синяя тѣнь лежала на Никитской от их дома — очерчивалась рѣзко и ломанно, дальше снѣг блестял искрами в лунѣ, сіяли накатанныя полоски. По ним рѣяло отраженіе дыма из трубы — таяло, уносилось. Церковь на той сторонѣ была зеленая. Лихачъ стоял у подъѣзда.

Он мчал их рѣзво — оцѣпенѣвшю в лунѣ площадью, мимо Собора, сахарною громадой воздымава-шагося, мимо городского сада к губернаторскому дому и Дворянскому Собранію.

Глѣб, высаживая Олимпіаду, был не совѣм уже тот, что сидѣл нынче в гимназій, мрачно домой возвращался и дома упорствовал. Но и все было другое — из луннаго вечера естественно пронеслись они с Олимпіадою в блеск зала с люстрами, в свѣт на бѣ-лых колоннах, рядами вытянутых к эстрадѣ. Там от-блескивает он в темном лакѣ рояля, а в глубинѣ Им-ператрица на стѣнѣ, Екатерина с розовыми щеками, пудренная, во весь рост у стола, со скипетром в рукѣ — наискосок Александр в бѣлых досинах, со взби-тым на головѣ коком, на фонѣ дымных сраженій...

Олимпіада вела Глѣба средним проходом между стульями, все вперед. В третьем ряду остановилась, взглянула на билеты и взяла надѣво. Темноглазая, худошавая дама улыбалась ей в нѣскольких шагах. Олимпіада подошла. Онѣ дружески поздоровались.

— А это племянник мой, разрѣшите представить.

Анна Серѣевна привѣтливо на племянника взгля-нула.

— Знаю немножко... заочно.

И протянула руку.

— Любите музыку?

Глѣб пробормотал нѣчто будто и утвердительное. Как, по совѣсти, мог сказать, что музыку очень лю-бит, когда почти и не знал ея? Если-же отвѣчать вполне правильно, слѣдовало-бы опредѣлить так: знаній не имѣл, но дѣйствию был подвержен.

Анна Сергѣевна сидѣла межъ Глѣбомъ и Олимпіадою. Глѣбъ смотрѣлъ на программу, видѣлъ имена: Бетховенъ, Шопенъ, Листъ, слышалъ разговоръ Олимпіады съ сосѣдкою, чувствовалъ себя отдѣленнымъ. Все на своихъ мѣстахъ, все свѣтло и понятно. Прекрасно, что эта изящная дама съ нѣжнымъ профилемъ, чахоточной тонкостью лица, брилліантовою брошкою, слабо благоухающая духами, съ нимъ рядомъ. И онъ, ученикъ пятаго класса Глѣбъ, случайно на мѣстѣ вице-губернатора. Но онъ въ то-же время (душою своею) и слегка плыветъ въ этомъ залѣ, чуть выше, такъ-же легко, какъ хрустальный и невѣсомый свѣтъ, наполняющій все вокругъ.

— А вотъ и онъ, видите, какой юный.

Въ залѣ раздался мягкій, но полный плескъ. Къ роялю, поднявшись изъ артистической, подошелъ молодой человѣкъ во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, довольно стройный, съ кругло-пріятнымъ, полудѣтскимъ лицомъ. Анна Сергѣевна зааплодировала. Глѣбъ тоже. Молодой человѣкъ сдержанно, привычно раскланивался направо, налево. Потомъ сѣлъ за рояль.

По мѣрѣ того какъ онъ игралъ, Глѣбъ все прочнѣе отходилъ въ тотъ особенный міръ, уголокъ котораго показался ему нынче въ соединеніи луннаго свѣта со свѣтомъ сіяющей этой залы, блескомъ женскихъ глазъ рядомъ, во всемъ томъ остро-радостномъ очарованіи, что было вокругъ. Нельзя было понять, какъ именно юноша Гофманъ вызывалъ къ бытію міры новыя — но вызывалъ: съ сверхъестественной легкостью, хрустальною, нечеловѣческой, къ свѣту и очертанію присоединялся звукъ — всѣ эти сложныя, тонкія, воздвигающіяся, низвергаемыя воздушныя и невидимыя по-

строенія, гдѣ-то кѣм-то созданныя, гешеръ колдовски воспроизведенныя.

Они мѣняли окружающее. Заступали мѣсто Калуги и губернаторов, учеников, уроков, чередованія дней. Глѣб впервые испытал тогда то ощущеніе от музыки, которое потом приходило и сильнѣе: казалось, что тяжести и преграды и невозможности вообще нѣтъ — в этом полуфантастическом бытіи можно, напримѣр, двинуться наискосок через всю залу, снизу вверх на хоры или наоборот... — все объято одним потоком, неусловным и невѣсомым, в нем все по иному: взять, напримѣр, Анну Сергѣевну под руку и беззвучно — не то проплыть, не то выесть в лунно-зеленоватыя міровыя просторы.

Гофман играл с антрактом. Глѣб вставал, ходил с Олимпіадою и Анною Сергѣевной в толпѣ, в сіяніи люстр. Губернская эта толпа не была-ли для него отголоском пережитого? Другая толпа, не такая, как всегда. Все другое. Излученіе и сіяніе — в брилліантах Анны Сергѣевны, в звуках Гофмана, в сверканіи бѣлых колонн Собранія.

Разговаривая с Олимпіадою, Анна Сергѣевна иногда тихо на него улыбалась. Вѣроятно, вид Глѣба и сам говорил за себя.

Когда кончилось и второе отдѣленіе, Гофман раскланивался с той-же пріятностью и легкостью, слегка прижимая руки к сердцу, склоняя полу-мальчишескую, с боковым пробором, круглую голову. Он стоял на эстрадѣ в своем фракѣ и бѣлом галстукѣ, уходил, выходил, улыбался — а наконец и совсѣм ушел, чтобы запахнувшись в шубу, на лихачѣ укатить к «Кулону», поужинать, лечь спать и утром с ранним

поѣздом летѣть по сонной Россіи в другой город, обольщать других дам, других гимназистов.

Глѣб, Анна Сергѣевна, Олимпіада выходили из Собранія. Екатерина, Александр в лосинах, люстры и колонны, Имперія, вносившая в каждый город Россіи Европу и анти-скиѣское, все это отошло, как и Гофман со своими каскадами. Они вошли в ночь.

Анна Сергѣевна спросила Глѣба, доволен-ли он. Глѣбу хотѣлось отвѣтить что-нибудь замѣчательное, особенное... — Но ничего замѣчательнаго не получилось, кромѣ того, что он был сейчас счастлив и этого скрыть нельзя.

Олимпіада обернулась к Аннѣ Сергѣевнѣ.

— А вѣдь как ѣхать не хотѣл! Вы бы посмотрѣли, как приходилось уламывать. Вот уж эти мужики!

Анна Сергѣевна засмѣялась. Они не могли сразу найти извозчика — шли втроем мимо губернаторскаго дома, рядом с городским садом. Мороз усилился. Луна зашла, небо темнозвѣздное — синева с золотом.

Глѣб вел под руку Анну Сергѣевну. Она ступала осторожно. Рядом, как могучая крѣпость, Олимпіада в малиновой ротондѣ.

Анна Сергѣевна подняла руку, указала в небѣ златистое дубль-вэ.

— Это какое созвѣздіе?

Глѣб полон был сейчас дыханіем ночи, звѣзд, ледяной безконечности. Но рядом ощущал милую престель, земную. На морозѣ слабо пахло духами...

Он тихо и без колебанія отвѣтил:

— Кассіопея.

Извозчик на углу всетаки оказался. Олимпіада хотѣла-было посадить Глѣба третьим, между ними.

Он низачто не сѣл. Он их усадил, сам пошел пѣшком, ему нравилось так шагать по морозу, по зако-стенѣлому снѣгу улиц, со скрипом, визгом под ногой, нравилось видѣть над собой Кассіопею. В ней какая-то музыка, он не мог сказать точно какая, но был ею полон, все теперь другое, гдѣ этот странный утекшій день, библиотека, о. Парфеній, мрак, печаль?

Его ход был легким, может быть даже он почти и бѣжал. Глаза Анны Сергѣевны, брилліанты, запах духов... Глѣб был рад, что он один, что восторг тѣшит его.



Через нѣсколько дней, в Училищѣ, послѣ урока гимнастики, когда оставалось еще минут двадцать свободнаго времени, Глѣба вызвал к себѣ Александр Григорьевич. Он имѣл вид спокойный, задумчивый и довольно важный — стоял у окна большого коридора, заложив руку за спину и подбрасывая ею фалду вицмундира: это занятіе он любил. Увидѣв Глѣба слегка улыбнулся — улыбка скользнула по блѣдному лицу с карими, умными глазами — нельзя было понять, насмѣшливая или сочувственная.

— Вот, вот именно. С вами и хотѣл поговорить. С вами.

Глѣб относился к Александру Григорьевичу с уваженіем, нѣкоторым смущеніем. Не совсѣм он простой. Говорили, что в молодости считался рѣдких дарованій математиком, должен был быть оставлен при Университетѣ, но не вышло — попал в провинцію. Теперь он инспектор реального училища в Ка-

дугъ и Глѣбовъ классный наставникъ. Три года назад женился на бывшей своей ученицѣ Катѣ Крыловой. Живетъ уединенно близъ Никольской, в одноэтажном кирпичном домицѣ. Иногда, проходя по переулку, можно видѣть его за окномъ: укутавшись в плѣдъ (изъ за склонности къ простудамъ), подолгу, неподвижно читаетъ. Глѣбъ иногда о немъ думалъ. Онъ представлялся ему вродѣ астролога или чернокнижника, в жизни его будто нѣкая тайна. Богъ знает, можетъ быть, сидя в своихъ креслахъ, шарфахъ, плѣдахъ, вдругъ да и откроетъ новое дифференціальное исчисленіе.

Но сейчасъ онъ прежде всего начальство.

— С вами, и вотъ о чемъ-с...

Александръ Григорьевичъ таинственно поджал губы, расширилъ глаза: не то, чтобы они приняли угрожающее выраженіе, но всетаки на чемъ то настаивали.

— Я знаю, что вы хорошо учитесь. Да, да. И превосходно-с. Такъ и надо. Да, такъ и надо.

Онъ медленно повелъ Глѣба за собою по корридору, все побалтывая фалдой вицмундирной — рука его за спиной.

— Но не одно это. Жизнь юноши состоитъ не изъ одного ученія. Человѣкъ живетъ-с, и юноша живетъ-с. В юношѣ слагается будущій гражданинъ.

Глѣбъ шагалъ рядомъ. Смутно онъ уже чувствовалъ, куда клонитъ Александръ Григорьевичъ.

— Миѣ извѣстно, что вы посѣщаете театры. А надняхъ были даже и в концертѣ — не предупредивъ вашего класснаго наставника! — онъ расширилъ глаза, повернулъ голову и настолько приблизилъ блѣдное свое лицо къ Глѣбу, что тотъ увидѣлъ всѣ жилки глаза и блѣдно-оранжевый ободокъ зрачка.

Глѣбъ призналъ свою вину. И нѣсколько вспыхнулъ,

сказав, что случайно и в послѣднюю минуту получил билет от Анны Сергѣевны, вице-губернаторши. Ему пріятен был звук слов: «Анна Сергѣевна» — и то, что как будто она сама его позвала.

— Принимаю во вниманіе, что вас пригласили за нѣсколько часов до концерта. И, разумѣется, не возражал-бы ни против музыки, ни против общества, в котором находились. Не возражал-бы. Да, да, да! (Он подкидывал рукой сзади фалду). Не возражал-бы. И все-таки — я должен знать, гдѣ находятся и что дѣлают ученики ввѣреннаго мнѣ класса... — он опять расширил глаза. — Но это еще не все. Не все-с! Я вообще замѣчаю в вас в послѣднее время нѣчто новое... Мало того, что вы начинаете вести разсѣянный образ жизни, да, разсѣянный... — в вас наблюдают-ся и нѣкоторыя черты, мало подходящія и к вашему возрасту, и к положенію воспитанника Училища.

Маленькія ноги Александра Григорьича, в сапожках на высоких каблуках, негромко, но четко отстукивали. Паркет блестѣл. Глѣб старался идти с ним в ногу — это было не так легко: Александр Григорьич хотя выше средняго роста, но шагал мелко. Они проходили мимо стеклянных дверей, там классы. Привычным взором заглядывал туда Александр Григорьич. За стеклом ученики на партах, учитель за своим столиком. Что-то они говорили, но отсюда казались тѣнями, как в нѣмом синема.

Александр-же Григорьич припомнил Глѣбу и странность послѣдняго его русскаго сочиненія («Москва, как много в этом звукѣ для сердца русскаго слилось» — Глѣб неожиданно осудил Москву), и его теологическія уклоненія и, наконец...

— Вы, кажется, читаете Эмиля Золя?

Глѣб на этот раз был в довольно мирном, быть может слегка и смущенном духѣ.

— Да, Александр Григорьич, читаю.

Александр Григорьич высоко подбросил за спиной фалду. Проходя в эту минуту мимо четвертаго класса, сдѣлал ученику Евстигнѣву, занимавшемуся подсказом, страшные глаза, погрозил пальцем.

— А между тѣм, Золя пакостный писатель. Да, я вам говорю: пакостный. Засоряет и ютравляет душу юноши.

Дойдя до конца корридора, они повернули назад. Золя был вполне разгромлен. Глѣб, впрочем, не особенно его и защищал. И когда Александр Григорьич спросил его, чѣм он больше сейчас занимается, Глѣб отвѣтил для него неожиданно, отвѣтъ удивил:

— Астрономіей и рисованіем.

— Астрономіей!

Александр Григорьич опять расширил глаза, но теперь не угрожающе.

— И хорошо-с. Но что-же вы собственно дѣлаете?

Глѣб нѣсколько преувеличил, но его ход оказался правильным, да это и не была вполне выдумка: не только потому, что показал Аннѣ Сергѣевнѣ Кассіопею, но он дѣйствительно этой зимой кое что читал о небѣ, достал звѣздный атлас и находил большую радость в том, чтобы отыскивать и наблюдать звѣзды. Нѣкоторые вечера, когда Красавец с Олимпіадою уѣзжали, он дѣйствительно проводил над Фламмаріоном. Юпитеры и Венеры, Веги и Кас-

сіопси становились ему друзьями. Они пригодились и сейчас.

Насчет рисованія Александр Григорьич Глѣба тоже одобрил. Посоветовал обратиться к Михаилу Михайловичу. Глѣб промолчал. Он отлично знал, что уж именно этого то никогда и не сдѣлает.

— А Золя бросьте читать. Пакостный писатель. Я вам говорю. Пакостный.

Раздался звонок. За стеклянными дверьми скупающіе муравейники зашевелились. Одна за другой стали отворяться двери. Тянуло спертым теплом. Держа журналы у лѣваго бока, выходили учителя, вяло и скучновато. Вываливали ученики — корридор сразу загудѣл.

IV

В то время, когда калужскій ученикъ Глѣбъ готовил свои уроки, читал книги по астрономіи и занимался рисованіемъ, тѣ самыя звѣзды и планеты, о которыхъ говорилъ Фламаріонъ, текли юбычными путями по ночному небу надъ Европой и Россіей, Петербургомъ и Калугою. Глѣбъ зналъ теперь много созвѣздій и умѣлъ находить ихъ в морозный вечеръ надъ Никитской. Могъ слушать музыку и со сладкимъ смущеніемъ вспоминать, какъ сидѣлъ съ Анной Сергѣевной.

Могъ любить или нелюбить Красавца и Олимпиаду, непонимать Іоанна Кронштадтскаго, подкапываться подъ о. Парфенія — в круговоротѣ Вселенной занималъ онъ едва видимую точку и размышленія его, казавшіяся ему безспорными и впервые высказанными, не мѣняли волоска в ходѣ жизни. Но и онъ самъ, его мысли, волненія, стремленія тоже были Вселенной. сколь-бы ни казались со стороны малы.

Время срисовыванья пейзажиковъ, звѣрей, гоголевскихъ типовъ прошло. Глѣбъ теперь увлекался акварелью. В очаровательномъ разнообразіи растеній, зданій, неба, воздуха стремился уловить ихъ формы, краски на сыромъ листѣ ватманской бумаги, натянутомъ на доску. Для другихъ эти упражненія его цѣны не имѣли — онъ ихъ никому и не показывалъ: трудился в свободные часы подпольно, точно дѣлалъ нѣчто не-

дозеолненное. Мир никак не пропал бы без Глѣбовых акварелей, но для него онѣ представляли цѣнность неизмѣримую. Не потому, чтобы он считал их совершенными или значительными — наоборот, всегда страдал от признанія слабости, но все казалось: а вдруг сумѣет создать что нибудь и порядочное? Вдруг да изобразит, напримѣр, церковь на той сторонѣ Никитской так, что и самому понравится? — Пока что, это не удавалось. Именно самому и не нравилось. Но он считал занятіе свое первостатейным. Лишь оно и оправдывало его жизнь. С упорством, страстно противопологал Вселенной ребяческія свои картинки — но противопологал...

Мир-же большой и внѣшній продолжал назначенный ему путь. Петербург, Двор, Правительство готовились к коронованію Государя. Засѣдали комитеты и комиссіи, тайные совѣтники, дѣйствительные тайные, генералы и министры, архіереи, архіепископы — в Москвѣ должно было состояться торжество, с пышностію необычайной. Государь принимал корону Самодержца Всероссійскаго, Царя Польскаго, Великаго Князя Финляндскаго.

Коронація предполагалась весной. Дамы обѣих столиц мучились тревоженіями нарядов. Портные, портнихи работали. Полицмейстер Власовскій, носившійся по Москвѣ на парѣ в пролеткѣ, уже извѣстный тѣм, что уничтожил зимой сугробы и ухабы на улицах, молил Бога, чтобы все прошло благополучно.

Этой самой весной пріѣхал в Калугу из Балыкова отец — за послѣдним платежом Ирошникова по Будакам, за расчетами по кирпичному подряду. Отец остановился у Красавца, был весьма мил и ве-

сел. Ласков с Глѣбом — подарил ему велосипед. Болѣе чѣм ласков и с Олимпіадою — ей цѣловал ручку, как настоящій гоноровый пан, называл «мамой» и преподнес дорогіе духи. А с Красавцем ѣздили они в кафешантан, гдѣ пѣвички упражнялись, помавая задами. Намокал отец с Красавцем и у Кулона: по обычаю, «нравственно встряхивались».

Глѣб в это время держал экзамены — ровно и удачно. Акварель, астрономію пока отложил. Но настроеніе было хорошее: предстояло лѣто на новом мѣстѣ, в Балыковѣ. Мать жила уже там, в только-что конченном новом домѣ. Из Консерваторіи должна была пріѣхать и Лиза. Глѣба вез отец.

У отца оказались дѣла и в Москвѣ, он отправился туда раньше. Глѣб должен был захватить его там, дальше путешествовать с ним вмѣстѣ.

В іюльскій срок Глѣб и уѣхал.

Он встрѣчался теперь с Москвой как слѣдует в первый раз — один въѣхал в пыльно-златоглавый этот город ярким майским утром. Глѣб, «ученикъ шестого класса Калужскаго реальнаго училища», считал себя уже взрослым, был хорошо одѣт, отлично выдержал экзамен и когда сѣл в извозничью пролетку у Курскаго вокзала, вдруг ощутил всю свою значительность.

— На Неглинный, в номера Ечкина.

Он сказал это не без важности, точно Ечкин — «Славянскій Базар» или «Дрезден». Дал четвертак носильщику в бѣлом фартукѣ, поставившему ему в ноги чемодан. Извозчик загромыхал. В пролеткѣ что-то дребезжало — как ветхій ковчег двинулось все сооруженіе. И Москва охватила Глѣба объятіем теплым, неотрывным, пестро-шумным.

Москва была в крикъ воробьев, в красном кушакѣ извозчика сверх синяго кафтана, в яркозеленой вывѣскѣ трактира Бакастова, в индиговых вывѣсках лавок, веселой толпѣ на узких тротуарах Садовой, в колокольном звонѣ близкой церкви, в толчѣ и азиатчинѣ базара у Сухаревки, в галках, милой зелени и сирени майской — Русь и Азія, истинно «сердце Россіи», та Москва, которую по-мальчишески задѣл он в недавнем сочиненіи — а теперь вот она, не выдуманная, настоящая.

Глѣбу очень Москва понравилась, но и смутила. Она показалась огромной, кипучей... — не без ужаса думал он, как-же здѣсь не заблудиться? Кто может запомнить всѣ эти закоулки, повороты, тупички? Но извозчик привез на Неглинный без затрудненій, Ечкина нашел без затрудненій.

Раз отец остановился здѣсь, Глѣб заранѣе уважал Ечкина. В сущности-же, это было слишком. Ечкинская гостиница считалась из средних, солидная, но для провинціалов. Хозяин содержал еще и тройки. «Ечкинскія тройки» были по Москвѣ извѣстны, сами-же «номера» степенны, с половыми в бѣлых рубахах и штанах (отец называл их «упокійничками»), с кисловатым запахом непровѣтренных корридоров, с «парой чая», которую на лубочном подносѣ со скачущей тройкою подавал упокійничек в номер: чайник с кипятком (бѣлый) и чайничек с чаем (тоже бѣлый, в синих цвѣтах), филипповскій горячій калач, кусок ледяного бландовскаго масла... Или-же — угарный самовар с вѣрообразным краном, в клубах пара, с искаженным твоим отраженіем на мѣдном боку.

Отец, в сѣром свѣжем костюмѣ, хорошо вымы-

тый, с аккуратно расчесанным боковым пробором, щеткой приглаженными волосами, сидѣл именно за таким самоваром. Безмысленно-растянутое его изображение глядѣло из самоварнаго пуза. В комнатѣ душно, накурено, слегка и угарно.

— А-а, гимназіаст пріѣхал! Ну, благополучно?

Глѣб обнял сидѣвшаго отца, приложился щекой к его теплой, в бородкѣ, с дѣтства знакомой щекѣ, от которой пахло табаком — отец ласково привлек его к себѣ, слегка потерся щекой... Все в порядкѣ.

— В шестой класс перевалил? Первым? Молодчина.

Пока Глѣб умывался из умывальника с нижней педалью, отец покуривал, налил ему чаю со сливками и сказал, что хотя науки и ни к чему, однако учиться надо — так полагается.

— Да, и по Москвѣ не заблудился? (Видно, что охотник.

— Папа, мы долго тут останемся?

— Нынче-же трогаемся. И в Балыково мнѣ пора, да и здѣсь завтра столпотвореніе начинается — коронація.

Глѣб остался доволен. Москва хороша, но сидѣть долго в этом номерѣ... — нѣтъ, дома и «в деревнѣ» лучше. Отец был прав — Глѣб все еще оставался «охотником» калужских лѣсов. К извѣстію о коронаціи отнесся вполне равнодушно. Коронація так коронація. Таков-же был и отец: другой на его мѣстѣ, зная, что завтра начнутся такіа зрѣлища, именно и остался-бы ча денек: но отец терпѣть не мог торжеств, нелюбил генералов, нелюбил мундиры, треуголки, ордена, толпу, восторги и «народныя гулянія». Он уѣхал-бы из Москвы, если-бы Глѣб и просил остаться.

Чтобы убить время, Глѣб рѣшил посмотреть город. Это отец одобрил.

— Ечкина-то найдешь? Помни, около Трубной площади.

Глѣб мог-бы и обидѣться — его все еще считают за ребенка, но сейчас не обидѣлся: полон был другим. Все-таки, перед ним Москва!

Выйдя на Неглинный, тотчас нанял извозчика и поѣхал по знаменитым мѣстам — мимо Большого театра с летящими наверху конями, мимо Думы и Иверской, остроугольно-кирпичнаго Историческаго Музея, Красною Площадью, гдѣ Василій Блаженный завивает свои луковицы, Минин с Пожарским смущены академической наготой. Глѣб нарочно велѣлъ ѣхать чрез Кремль. Это было первое его посѣщеніе, взрослое и странническое, новаго города, начало тѣх радостей скитаній, которыми была благословлена жизнь его. Он с изумленіем, почтеніем смотрѣлъ на кремлевскія стѣны, кремлевскія башни, сходявшія меж зубцов стѣны вниз к Москва-рѣкѣ. На Спасской башнѣ били часы. Въѣзжавшіе в темноватое ея устье, ведущее в Кремль, обнажали головы. Глѣб не без волненія выполнил старинный обряд московскій: снял фуражку, увидѣлъ перед собой непокрытую лысину старика-извозчика. А через минуту ѣхал уже мимо бѣло-голубого Вознесенскаго монастыря, мимо Чудова, Успенскаго Собора, Царя-Пушки. Слева за рѣчкой Замоскворѣчье. Если обернуться немного назад, там бѣлѣет Воспитательный дом. Прямо — золотые кресты Кадашей.

Свой-же собственный Иван Великій, тонко возносящійся в Кремль, увѣнчанный золотым шлемом, над всѣм господствует.

Рядом, в Архангельском Соборѣ, спят в каменных могилах тѣ Великіе Князья, Цари, что созидали эту Русь. Цѣпь длинна! Завтра послѣдній из них, совсѣм еще юный, родившійся в день Іова Многострадальнаго, должен был вѣзжать в Москву для коронаціи.

Чѣм далѣе ѣхали, тѣм больше испытывал Глѣб ощущеніе новое, радостно-тревожное... Это уж не Калуга с Александрями Григорьевичами и Красавцами. Это та самая Москва, которую зимой осудил он — а вот она разстилается теперь пред ним безгласная, не требующая восхищенія, но вызывающая его.

В Третьяковскую галерею попали переѣхав Каменный мост, вертась по переулкам, закоулкам. Тихій Лаврушкинскій переулок — конец пути. Не очень замѣтный вход, довольно скромное зданіе, но что-то прочное, хозяйственно, с любовью устроенное.

Глѣб долго ходил по безмолвным залам. Посѣтителей было немного. Тишина, зелень сада из окон, уединеніе, особенный, милый запах — смѣсь лаков и масл от полотен — сознаніе, что вот он «в Третьяковской галереѣ» — как это возбуждало! Новым, прекрасным показались всѣ Рѣпины, Суриковы и Полѣновы, Крамскіе, Левитаны. Глѣб с ужасом и восторгом глядѣл на Іоанна Грознаго над окровавленным сыном, хохотал с Запорожцами, волновался со стрѣльцами суриковскими — боярыня Морозова в санях с проклятіем своим и двуперстным сложеніем...

Полѣновская Ока — родные Будаки, ушедшій рай. Был и художник особенно его пронзившій — Левитан. На мысу над слияніем двух русских рѣкъ, под сумрачно-величественными облаками церковка в

деревьях и погост — «Над вѣчным покоем» в предвечернем скорбном свѣтѣ из разрывов туч — так навсегда и легло в сердце. Еще: вечерній мѣсяц над дужком и стогом, лошади деревенскія, деревня, Русь. — написано так, как он не видал франше. Он с грустью, завистью ощутил, что *этого* не умѣет — и сумѣет-ли когда? Новый мѣръ! Если стоит жить, то вот именно для того, чтобы дѣлать подобное...

Третьяковская галерея так его прельстила, что он в ней пробыл пока не стало пестрѣть в глазах, путаться в головѣ — сколько может вмѣстить человек, столько и вмѣщает.

Глѣб возвращался к своему Ечкину радостно-утомленный, переполненный, с тѣм чувством, которое дают иногда странствія: не напрасно прожитой день.

Послѣ художества и тишины Лаврушкинскаго, Неглинный показался болѣе обыкновенным, менѣе привлекательным. Времени еще было порядочно. Послonyaлся он по Трубной площади, посмотрѣлъ на продавцов птиц в клѣтках, на мелкій, пестрый базар этого пестраго и грубоватаго мѣста. По узеньким рельсам ходили конки, парю лошадей. Глѣб с любопытством разглядывал, как перед подъемом в горку, к Рождественскому монастырю, к основной парѣ припрягали впереди еще двѣ пары. На каждой верхом по мальчишкѣ. Они нахлестывали своих кляч, галопом разгоняли конку — с размаху удавалось ей взлетѣть до Рождественскаго монастыря и Срѣтенки. А там подмогу отпрягали. Мальчишки шагом, с важностью спускались вновь к «тубѣ» — до слѣдующаго вагона.

Зрѣлище это Глѣба развлекло. Но еще болѣе

удивился он, когда сверху спустилась цѣлая группа всадников, впереди нѣкто в театральном, или-же маскарадном костюмѣ — в шляпѣ с перьями, плащѣ, шпорах и с трубой. Это были герольды. Москву оповѣщали о том, что завтра начнутся торжества коронаціи.

Потрубив, собрав вокруг себя кучу народа и прочитав что нужно, герольды поѣхали шагом дальше — по Петровскому бульвару к Страстной площади.

Глѣбу все это не очень понравилось. Потому-ли, что отцу не нравилось? Трубы, наряды маскарадные, лошади в изукрашенных пополах — не понравилось.

Когда он возвратился к непровѣтренному Ечкину, упокойничек доложил, что «папаша тоже вернулись и дожидаются». Отец расплачивался по счету, давал на чай выползавшим изъ всѣх щелей корридорным, номерным, горничным... Внизу ждал швейцар. Отец давал охотно. Он был весел, бодр, был русскій барин, странно было-бы для него мало давать.

Через полчаса их с поклонами усадили на извозчика. Ъхали они на Казанскій вокзал.



Празднества в Москвѣ начались со въѣзда Государя из Нескучнаго дворца, загороднаго, в Москву. Государь был молод, недавно повѣнчан, все для него и его молодой жены было впереди в этот майскій день, когда московскій народ восторженно его встрѣчал и, казалось, восторженно его любит — начиналось вѣнчаніе на царство: вдаль, к Мономаху уходила вереница Императоров, Царей, Князей, предшественников.

Отец и Глѣб мирно катили в глушь нижегородских лѣсов, когда в Соборѣ на голову Государя, Государыни возлагал митрополит вѣнцы. Не так трудно и представить себѣ всю роскошь мантий горностаевых, блеск риз и митр в Соборѣ, золотое шитье мундиров, пестроту лент и орденов, пестроту дамских парадных платьев, как и всю сложную, утомительно-грандіозную махину «слѣдованій», «прибытій», юбѣдов, балов, иллюминацій, рѣчей, хоров, кантат, «народных толп» и прочаго. Все проходило, как и полагалось, по церемоніалу коронацій Александра Третьяго, Александра Второго. Гудѣли колокола, палили пушки, вечером Москва сіяла иллюминаціей — все именно то, что нелюбил отец и от чего уѣхал.

Гораздо позже Глѣбу, уже взрослому, таинственно передавали, что коронація началась сразу несчастьем: когда в первый-же раз подвели коня Государю, то едва он вдѣл ногу в стремя, конь начал биться, встал на дыбы, Государь сѣл в сѣдло и, будто-бы, «смертельно поблѣднѣл» — правда-ли это? Или легенда? Глѣб навсегда принял за правду.

Мать уже расцѣловала его на порогѣ новаго дома Балыковского и Глѣб вселился в отведенную ему мило-свѣтлую комнатку, гдѣ пахло свѣже-крашеным полом, когда в оставленном им городѣ произошло нѣчто особенное и на этот раз вполне историческое.

Всякій, кто выѣзжал из Москвы по петербургскому шоссе помнит за Яром, налѣво, Ходынское поле, ограниченное с сѣвера лѣсом. Сюда выходили в лагерь Московскіе гренадеры. Здѣсь, в назначенное утро коронаціонных дней, устраивался народный праздник: среди балаганов, буфетов, палаток дол-

жны были проходить толпы, которым раздавались-бы подарки — эмалированные кружки с царскими инициалами, сайки, угощенья — все как будто очень и приятное. Поле огромно, но и народу в Москвѣ немало. И за подарками тронулась еще с вечера не только «вся Москва» — горничныя, кухарки, торговцы, дворники, рабочіе — но и крестьяне деревень сосѣдних. Уже к полуночи толпа считалась в сотни тысяч и росла. Глухо, темно — вѣроятно, вначалѣ и весело было в тот вечер на Ходынском полѣ. Наряды полиціи да сотня казаков явившихся уже глубокой ночью, должны были сдерживать эту Русь, направлять куда слѣдует.

Но всѣм хотѣлось поскорѣй к буфетам и палаткам. Кто дал сигнал? — Его не было, сама утроба толп несла их в темнотѣ вперед, сжимая, давя, расплющивая. Дѣти и женщины, кто послабѣе из мужчин поплатились первые. Кто посмѣлѣе, посильнѣй, вскарабкивался на сосѣдей и по головам выбѣгал из давки. Другіе, споткнувшись, падали. Стадо затаптывало их. Третьи проваливались в полузасыпанные колодцы. Четвертые — в оставшіеся послѣ выставки ямы, лишь слегка досками накрытыя, пятые в канавы...

Утро поднялось над несмѣтной обезумѣвшею толпой, метавшейся из стороны в сторону. Молчаливо двигались в ней стоячіе группы. Из ям стоны.

... И все было необыкновенно в этот день, о котором Глѣб в мирном Балыковѣ, близ Сарова, при шумѣ сосен балыковско-саровских узнал много позже, и по молодости лѣтъ, по занятости собою, пробуждающейся своею жизнью, не обратил даже особеннаго вниманія: в далской Москвѣ, которой и вовсе

не знал, произошло несчастье с невѣдомыми ему людьми.. Очень печально. Но что-же он может сдѣлать?

День-же Москвы продолжался. Поздним утром толпы уже не было, трупы убрали, министры съѣзжались в павильон на Ходынкѣ слушать кантату в честь коронаціи. Панихиды не было. Днем, когда Государь ѣхал по Петербургскому шоссе, ему встрѣчались мертвецы на подводах — погибло тысячи три.

Вечером французскій посол граф Монтебелло давал коронаціонный бал. Государь посѣтил его. Был задумчив и блѣден, но танцевал.



Двѣ домны в Балыковѣ видны были с балкона директорскаго. Вокруг мелкія строснія, контора, склады, дальше луг и рѣчка, а за ней лѣсок по взгорью — в сторону Дивѣва — да деревня, гдѣ жили рабочіе. Сзади дома парк: часть вѣкового саровскаго бора, оторвавшася от монастырских лѣсов. Балыково в четырех верстах от Сарова — больше похоже на огромное имѣніе с домнами, чѣм на завод. И все здѣсь осѣнялось лѣсом, широкошумностію его и дичью, свѣжестью.

Тут проходило шестнадцатое лѣто Глѣба. Из Московской Консерваторіи пріѣхала сестра Лиза. У ней гостила Зина, калужская ея подруга по гимназіи, блондинка с пышным ореолом волос над лбом — лоб большой и выпуклый, глаза простенькіе, свѣтло-зеленые — все давало оттѣнок овечій. Зина считала, что слово мышь — мужескаго рода и родительный падеж будет: «мышя» — отец очень этим забавлялся.

Ее в домѣ и прозвали Мыша. Она вполне была барышня калужская, таинственно фыркала, вся заливаясь краской и смѣхом, без конца рассказывала Лизѣ разныя сердечныя исторіи. Глѣб отнесся к ней покровительственно-равнодушно, мать-же считала, что ее пора выдавать замуж. Скромный агроном Борис Иванович, из сосѣдняго имѣнія, стал бывать у них чаще.

Глѣб мог-бы про себя сказать, послѣ одинокой, трудовой зимы в Калугѣ, что отдыхает. Кое-что он читал, купался в рѣчкѣ Вичкинзѣ. Иногда ѣздил с отцом на вырубку близ Кастораса, за тетеревами.

Отец еще весной подарил ему велосипед. Глѣб каждый день выѣзжал теперь на нем в лѣс — осторожно и небыстро катил гладкою боковой тропкой пѣшеходов. Лѣс сопровождал его войсками сосен и торжественным напѣвом их.

Встрѣчныя бабы иногда крестились, с ужасом взирая на велосипед. Мужики тоже удивлялись — «сам себя на двух колесах оправдывает».

Глѣбу доставляло удовольствіе являться нѣким посланцем из иной, высшей жизни. Но увидѣвъ, что лошадь осаживает, начинает биться, вырываясь из шлеи и хомута, он слѣзал, пропускал подводу с пятившимся конем — иногда, все-таки, тот и подхватывал. Баба жалостно его отпрукивала, натянув возжи — молотила задом по мѣшку с сѣном. И уносились в пыли.

Одиноко катил в лѣсу Глѣб. Разумѣется, не мог предполагать, что через семь лѣтъ, уже в новом столѣтіи, как раз здѣсь будут тянуться экипажи свиты и Императора — в Саров, на торжество причисленія к лику святых старца Серафима. Если-бы он остано-

вился, слѣз с велосипеда, сѣл у канавки, под медленный гул сосен представил себѣ всѣ толпы, которым предстояло стекаться сюда — начиная с Государя и Царицы, духовенства и министров и кончая мужиками, бабами, калѣками, хромыми и слѣпыми — он, разумѣется, поразился-бы. Это была-бы Русь и Саров, возжженный для Россіи. Он увидѣл-бы торжественную всенощную в Соборѣ — и у многих алтарей под открытым небом, среди лѣса, среди тысяч народа с зажженными свѣчами, как в великій четверг. Он услышал-бы на поліелеѣ неожиданно грянувшее: «Ублажаем тя, Преподобне Отче Серафиме и чтим святую память Твою...» — Серафим перестал в ту минуту быть просто старцем: в Русской Церкви появился новый святой. Он увидѣл-бы и Императора в бѣлом кителѣ вблизи амвона, и царицу в свѣтлом платьѣ. Кителъ Императора, кителъ Россіи, которой предсказал Серафим Голгоѳу, мелькал потом средь всхлипываній баб, в толпѣ мужиков — беззащитный, но еще без угроз. И в ту ночь многіе исцѣлялись, вставали калѣки, рыдали родные над выздоравливающими.

Глѣб-же, обыкновенный русскій юноша, способностью прорыва Времени не обладал, будущаго не знал. Пророчествами, как и судьбами Родины не интересовался. Выѣдет он из сосноваго лѣса, проѣдет полями и назад, домой, в жизнь покойную: утром можно вставать когда хочешь, в училище не идти, пить чай в столовой, гдѣ за самоваром сидит мать, всегда ровная и прохладная — он подойдет, поцѣлует ей ручку, она его в висок — и начинается день балыковскій: можно почитать новаго писателя Чехова, поваляться в гостиной на диванѣ, сходить выкупаться,

проѣхать на велосипедѣ... — однообразно, может быть, и полусонно, но зато дома, дома...

Как-то в серединѣ іюля собрались они в монастырь — мать рѣшила: «надо-же дѣтям посмотреть Саров». Сама она туда не поѣхала — развлеченій для себя не признавала, а молодежь пусть прокатится. И устроила даже так, что с Лизой, Мышой, Глѣбом отправился и Борис Иванович: для Зиночки, полагала мать, не вредно.

Даже к вечеру зной не свалил. Что-то душное, смутное... Парило, овода без усталости облѣпляли лошадей, торжественно ѣхали на их спинах, жаля, напиваясь кровью. Линейка ровно шла песчаною колею. Но в Саровском бору пришлось рыси убавить — потряхивало на корнях.

Борис Иванович, в чечунчовом своем пиджачкѣ, солидно рассказывал Глѣбу о тетеревах, уборкѣ, монастырском хозяйствѣ. На другой сторонѣ линейки, за спиной их, Мыша держала Лизу за руку, что-то шептала — вѣрнѣе, это был ряд сдерживаемых фырканий, прерываемый отдѣльными словами: «Ватопедскій на меня посмотрѣл... он так посмотрѣл... а мы — ха-ха-ха...»

Глѣб находился в спокойном, туманно-отдохновительном настроеніи, слушал Бориса Ивановича без интереса, но и без раздраженія, как довольно равнодушно и вообще ѣхал в Саров.

Деревья порѣдѣли, стало свѣтлѣе. Тройка взяла рысью на мост через рѣку — темноводный, глубокій Сатис внизу — сверху глядит Собор, купола, корпуса монастырскіе. Монастырь над рѣкой на пригоркѣ. Кучер вновь припустил — на огромный двор вкатили как полагается. Высокій послушник, огненно-

рыжій, в скуфейкѣ, переходил двор тропинкою діагональной, мимо корпусов с палисадничками, с монашескими геранями, мальвами.

Мыша, взглянув на него, тотчас сжала руку Лизы.

Монах-гостинник считал, что они хотят взять номер, ласково поклонился, предлагая войти. Но Лиза объяснила, что они ненадолго. Он не менѣе ласково поклонился вторично.

Лиза, уже худенькая консерваторка, взрослая, оказалась вожатым. Она негромко, толково разспрашивала. Худощавое ея личико в веснушках, с карими, как у матери тонко очерченными глазами, вызывало расположеніе: именно ей и вести всю компанію, с ней и монахи привѣтливыѣ. (Иногда, впрочем, она ловко их передразнивала, в сторону, дѣлала старческую обезьянью рожицу).

Побывали в Соборѣ, видѣли пещеры в обрывистом берегу. Парило все сильнѣе. Солнце поблекло, затянулось мглой. Вдалекѣ погромыхивало.

Рѣшили идти в дальнюю пустыньку и к источнику. Мыша быстро порозовѣла от ходьбы, бѣлокурый ея локончик развился. Лиза подстроила так, что Мыша шла с Борисом Ивановичем. Глѣб помалкивал. Лиза обертывалась иногда назад, ей подмигивала. А Борис Иванович шагал скромно, лѣсною дорогой. Спина чечунчоваго его пиджачка отсырѣла, он занимал барышню разговорами: вот это Саровскій скотный двор, отличная каменная стройка. Молочное хозяйство на высотѣ, есть сепаратор... На словѣ «сепаратор» Мыша фыркнула. Ей показалось это слово смѣшным. «Сепаратор... а он для чего?» «Сепаратор, Зинаида Михайловна, это такая машина, которая отдѣляет в молоко сливки, благодаря дѣйствию центро-

бѣжной силы. Вы получаете очищенный продукт двухъ категорій. А на днѣ машины то, что мы называем механически взвѣшенными частицами. «В просторѣчи — грязь». «У насъ в Калугѣ...» Мыша была подавлена краснорѣчіемъ Бориса Ивановича — слово «центробѣжный» опять непонятно и можно-бы захотать, но от смущенія она лишь прошептала, зардѣвшись: «У насъ тоже есть монастырь... Тихонова Пустынь. А мы ходим... на Калужку (она произносила л мягко, по французски)... — там чудотворная икона».

Источник, куда привозили больных (и погружали в воду), особенно не поразил. В избушкѣ-же старца, игрушечно-крохотной, всѣ попримолкли. Мыша по-прежнему держалась за Лизу — так покойнѣе... и всѣ внимательно, не безъ серьезности глядѣли на закопченныя бревнышки, убогій столик, сохранившіяся «лапотки», «порточки» Серафима. Какой свѣтъ могъ к нему проникать сквозь оконце это?

— Ты-б могла такъ вот жить? шепнула Лиза Мышѣ. Та к ней крѣпче прижалась.

— Нѣтъ. Я боюсь.

— Чего ?

— Сама не знаю.

Борис Ивановичъ разсматривалъ все основательно. «Обратите вниманіе на бѣдность дерюжной ткани... А вотъ это — недогорѣвшая свѣча, при которой старецъ молился в послѣдній день. Смерть застала его на колѣняхъ, предъ иконою «Умиленія». Свѣча упала, вещи вокругъ начали уже тлѣть...»

Глѣб молчал. На вопросъ сестры, обращенный къ Мышѣ, онъ отвѣтилъ-бы, вѣроятно, в такомъ-же родѣ. Но ни отвѣчать, ни говорить не хотѣлось. Вотъ такъ

одному, в этой сосновой избушкѣ, зиму и лѣто, в лѣсах, с медвѣдями... Говорят, и медвѣди к нему являлись. Но мирные.

Когда вышли, небо совсѣм потемнѣло. Надо спѣшить!

Быстро, как только могли, шли назад. Сзади росла туча, тучная влагой, чернильная, с тугим сѣрым валиком на переднем краю. Молніи золотом ломали ее уже до земли, уже стрѣляло вдаль, вспыхивало фосфорически-зеленоватым. Тот безудержный шквал, что летит перед тучей, с запахом дождя, жутью, тьмою за ним, вдруг взметнувшей все своим дыханіем — налетѣл на них в двухстах шагах от монастыря. Листья понеслись, пыль, смерч завился по дорогѣ, нѣсколько капель дождя — крупнаго и еще рѣдкаго — потом так бабахнуло, что Мыша присѣла.

Бѣжать, бѣжать... Борис Иванович подхватил ее под руку, всѣ четверо кинулись к той монастырской гостинницѣ, от которой час назад отказались: только чулки, да оборочки бѣлыя барышен замелькали... — некогда уж стѣсняться. Только-бы добѣжать.

И пора! На каменное крыльцо влетѣли в момент, когда дождь грянул уже бѣлой сплошной лавой. Он сразу заслонил все — не видать ни Собора, ни корпусов, ни лѣса, только по двору, у самага крыльца, кипят в изступленіи свѣтлые пузыри, да начинающіеся ручьи... Кучер едва успѣл ввести в сарай тройку с линейкою. Монах-гостинник опять ласково кланялся — теперь Лиза сказала: да, нужен номер! «И самоварчик прикажете?» И самоварчик.

В номерѣ душно, еще до-грозовой духотой, тихо, слегка затхло. Клеенчатый черный диван, портрет

архіерея на стѣнѣ, Серафим с медвѣдем. На подоконникѣ горшок с красными фуксіями. Лиза пріотворила форточку — запахом дождя слабо тянуло, и весь этот номер с половичком от двери к столу и дивану, иконами в углу, архіереями и святыми показался вовсе удаленным. Остальной мір — Балыково, мать, отец, все под потопом, а они четверо в этом ковчегѣ с толстенными каменными стѣнами: дождь, буря — ничто. Это край Серафима — вон он шагает по стѣнѣ старческими ногами. с вязанкою дров на спинѣ, согбенный Серафим избушки, нынѣ заливаемой потопом.

Когда вѣхал с монахом самовар, в бѣлом облакѣ, пыхтя, кипя, потянуло слегка угарцем. И чашки с цвѣтами, и варенье вишневое в баночкѣ, и поклон гостинника, все — привѣт, дружба здѣшних мѣст, малое, но доброе расположеніе ковчеха.

Лиза и Мыша поправляли прически, обтирали платья, обчищали туфли. Мыша, вся розовая от бѣга, волненій, глаза блистают, еще больше похожа на овечку. «А мы как побѣжали, я думала, сейчас нас зальет... А Борис Иванович меня под ручку... мы бѣжим... а мы ха-ха-ха...»

Лиза хохотала. «Эх ты, Мыша несчастная, тебя бы под дождем оставить...»

Из фортки залетали капли. Втекавшій воздух чуть-ли не вкусѣе самого варенья. Чай пили неторопясь, с блюдецек, и опять барышни безсмысленно хохотали. Глѣб и Борис Иванович были довольно благодушны — Глѣб болѣе задумчив.

Борис Иванович объяснил, что дождь скоро пройдет. Он говорил негромко и небыстро, но основательно. Дождь не мог его не послушаться. И дѣйствительно послушался.

Когда через час Глѣб вышел опять на крыльцо, летѣли уж отдѣльныя капли. Над соснами посвѣтлѣло, с каждой минутой свѣтлѣло больше. Сзади дымилась еще сизая туча. Но уже все кончилось. И мгновенно наступило странное состояніе: совсѣм стихли капли, пал вѣтер, тишина, в ней нѣжно благоухало лѣсом, дальним лугом, неземной свѣжестью. И послѣ таинственных переливов, невидных перемѣщеній в небесах радуга, отливая нечеловѣческим семицвѣтіем, вознеслась через тучу, конец ея прямо уперся в Саров, в этот двор огромный.

Глѣб стал еще задумчивѣе. Он безмолвно смотрѣлъ на Саровскій рай. Как там, на дорогѣ близ Балыкова не мог предвидѣть ни торжеств Серафима, ни судеб Родины, так здѣсь — откуда мог-бы знать о грядущей участи самого Сарова?

Но эта радуга, благоуханіе, тишина... Глѣб был почти взволнован, смущен.

Из сарая шагом выѣхала тройка, направляясь к крыльцу. Сидѣнье линейки еще перевернуто — от дождя. Хвосты лошадей подвязаны коротко, тугими узлами.



Ровная жизнь, «полная чаша». Матери нравился большой удобный дом, хозяйство, слуги, огороды, гдѣ она распорядилась, цвѣтники перед домом, молодой яблоневый сад, который они сажали вмѣстѣ с отцом.

Цвѣтником много она занималась — цвѣты любила: сама поливала свои левкой, петуніи, маргаритки — ея фигура, искаженная, отражалась в розовом стеклянном шарѣ на постаментѣ пред балконом.

(Когда протягивала вперед руку с лейкой, из которой дождичком сверкала вода, лейка вырастала в шаръ чудищем, а сама мать казалась гдѣ-то вдали, крохотной фигуркой. Но достаточно было нагнутья, чтобы поправить цвѣток — и голова матери принимала громадно-безобразные размѣры). Сама-же мать, похаживая во владѣніях своих садовых, вела и политику, молчаливо обдумывала свои дѣла.

В жаркіе дни іюля муть стояла в воздухѣ, опаловая мгла от далеких лѣсных пожаров. Глѣб валялся в угловой гостиной на диванѣ. Часто вспоминал Анну Сергѣевну — изящное и худощавое лицо, черные глаза, бриллиантовая брошка. Все это так туманно, нѣжно... Ах, какой вечер в Калугѣ — концерт, Собраніе, мороз... «Это что за созвѣздіе?» «Кассіопея...» Да, Кассіопею не забыть уже теперь. «Олимпиада говорит, что она болѣзненна, склонна к чахоткѣ. Неужели правда? Боже мой, как грустно!»

Но, конечно, эта грусть была минутной. Находила, все-же, себѣ отзвук в книгах новаго писателя — Антона Чехова. Глѣб с восторгом его читал, забывал Анну Сергѣевну довольно скоро, погружался в мечтательно-поэтическое бездѣйствіе и считал это хорошим тоном. Но молодость, здоровье и мальчишество брали свое: иногда вскакивал, бѣжал весело купаться, бормотал и напѣвал, насвистывал. Раз так увлекся, что на одной ножкѣ выскочил в залу и проскакал по ней, напѣвая давнюю, еще с дѣтских времен бессмысленно для него милую пѣсенку:

— Сидор, Сидор, граф Исидор, граф Исидор, граф Исидор...

Глуховатый старый лакей вошел в эту минуту в залу. Почтительно спросил:

— Лошадку изволите заказывать?

Глѣб совсѣм переконфузился.

— Нѣтъ, это я так... я ничего.

И от смущенія убѣждал.

Мать-же в это время не только обдумывала, но и дѣйствовала. Ея главной дипломатической дѣятельностью было то, чтобы устроить Мышу. Мыша была сирота, жила в Калугѣ у дальних родственников почти из милости. С другой стороны — при видѣ мужчин слишком часто фыркала и хохотала, иногда безпричинно плакала — мать окончательно убѣдилась, что ее надо выдать за Бориса Иваныча. Борис Иваныч упорно к ним ѣздил на своих дрожечках, потѣл, скучно разговаривал... — Мышѣ не особенно нравилась. Она была влюблена в Калугѣ, в одноклассника Глѣба, сына околоточнаго Ватопедскаго. Лизѣ рассказывала о нем безконечно. «Он подошел... Мы идем по бульвару.. взял меня за руку...» Понять рассказ ея всегда трудновато. Она помогала себѣ тѣм, что всегда кончалось дѣло одинаково: «а мы — ха-ха-ха, ха-ха-ха!» — и широкое ея лицо покрывалось пятнами от смѣха — онѣ подолгу, бессмысленно с Лизой хохотали.

Да, но Ватопедскій такой-же ученик, как Глѣб, едва-едва перебрался в шестой класс и уже мечтает стать вольноопредѣляющимся. «Зиночка, подумайте о своем будущем», говорила мать. «Борис Иваныч очень порядочный и приличный человек. Очень вам предан. Его можно устроить в Нижній, по агрономической части. Николай Петрович о нем отличнаго мнѣнія и похлопочет...» Мыша опять краснѣла, теперь по другому — ничего уж не могла пролепетать. Потом шушукалась с Лизой. плакала, хохотала, вспухала.

блѣднѣла... А Борис Иванович добросовѣстно выхаживал ее — прїѣзжал в пять, до шести гулял с ней в паркѣ, среди полу-саровских сосен. «Борис Иванович превосходный жених, Зиночка», — настаивала мать — сама не замѣчая, вела она давнюю свою линію: из ея дома должны выходить не «романчики» (чего она терпѣть не могла), а браки.

Когда лѣто подходило к концу, Глѣбу с Лизой пришлось собираться. Они разставались с жизнію бакыковскаго дома, с Саровом, Вичкинзой, тетеревами Кастораса, лѣтними прогулками, бездѣльем, Чеховым — все это туманно, полусонно, но несло в себѣ ощущеніе шири, вольности, как шум Саровских сосен, когда Глѣб катил среди них на своем велосипедѣ.

Теперь-же трогались на Муром, по другой дорогѣ — сто верст в тарантасѣ муромскими лѣсами, только что не с Соловьем Разбойником — и вновь к Окѣ в этом Муромѣ, древнем городкѣ на нагорном берегу, с видом необозримым на прїокскіе луга и лѣса. От Мурома желѣзная дорога на Москву — это Глѣб знал. Но не знал того, что первый непротивленец русскій, святой страстотерпец, имя котораго он носил — князь Глѣб был именно князь Муромскій — отсюда начинал агничій свой путь.

Когда они уѣзжали, Мыша много плакала, тиская Лизу в объятіях. Она говорила, что кажется, уж полюбила и Бориса Ивановича. И Ватопедскаго жаль, и счастлива она, и боится... — опять фыркала, опять хохотала, вновь плакала...

Мать провела свой план. Свадьба Мыши была назначена на сентябрь.

V.

У Красавца и Олимпиады Глѣб чувствовал себя теперь уже прочно. Родители в Балыковѣ, далеко. На каникулы он туда ѣздит, но живет, трудится здѣсь. И хотя праздник с буднями несравним, все-же не мог-бы он сказать, что Красавец его тѣснит или что с Олимпиадой ему тяжело.

Красавец раз навсегда рѣшил, что если Глѣб «сын дяди Коли» и хорошо учится, держит себя безупречно, то чего-же больше? Глѣб его занимал настолько, насколько он «нашей породы», племянник, котораго не стыдно показать гостям, сказать, взяв под руку: «Ну-те-с, а вот позвольте вам представить, сын любимаго моего брата Николая, ученая голова, с дѣтства назван Herr Professor, десяти лѣтъ убил на облавѣ лося». Глѣб и смущался, и принимал как должное. Конечно, пріятнѣе была-бы другая слава, не вѣчно-же этот лось. Но наморщенный лоб Красавца, выпяченныя вперед губы столь серьезны, что уж ничего тут не подѣлаешь.

С тетужкой выходило гораздо проще — в Олимпиадѣ совсѣм не было красавцевой парадности и гоноровости. Красавец из за пустяка мог вскипѣть, обидѣться, с ним нужна нѣкоторая политика. Олимпиада-же лишена спѣси, ведет жизнь праздную, шьет себѣ платья, ѣст, выѣзжает с Красавцем в театр, дома рас-

хаживает в ярких халатах. Сядет за рояль, аккомпанируя себяъ напѣвает: «Такъ взгляни-жъ на меня, хоть од-динъ только раз...»

Она къ Глѣбу относилась какъ къ юношѣ со странно-стями. Теперь ее удивляло его пристрастіе къ живописи. Милое занятіе, но увлекаться настолько...

Уроки онъ всетаки готовилъ, но это не-настоящее, настоящее начиналось лишь тогда, когда онъ бралъ доску съ натянутой полу-сырой ватманской бумагой, вынималъ кисти, краски, разводилъ ихъ, смѣшивалъ, погружался въ міръ безмолвныхъ тревоженій. Хотѣлось, чтобы вышло получше, а выходило все «не то». Послѣ Москвы, Третьяковской галлерей, Левитана, онъ былъ отравленъ, доморощенные попытки казались пустяками. И Глѣбъ изводился. Худѣлъ, волновался, нервничалъ. То являлась надежда — вотъ вотъ удастся, наконецъ-то «выйдетъ». Онъ начиналъ сіять. Но продолжалось недолго. На другой день, а то и черезъ часъ живопись эта казалась убогой, онъ впадалъ во мракъ.

Иногда Олимпіада къ нему заходила, когда онъ рисовалъ. Глѣбъ не особенно это любилъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, не смотри, еще не готово.

Олимпіада хвалила.

— Чего тебѣ, въ самомъ дѣлѣ? Очень мило. Прямо миленькая картинка...

«Миленькая картинка! Миленькая..»

— Ничего въ ней нѣтъ хорошаго.

— Приѣдетъ Анна Сергѣевна, непременно покажи. Ей тоже понравится.

— Нѣтъ, ужъ пожалуйста. И не говори ей ничего.

— Да что ты Байроновичъ право какой? Что это съ тобой дѣлается?

По характеру своему Глѣбъ могъ бы разсердиться,

но на Олимпіаду не сердился. Отвѣтъ его довольно покойный, негромкій: «Нѣтъ, не надо. Если-бы удалось чтонибудь... а так я не хочу. Мнѣ самому не нравится».

Анна Сергѣевна рѣдко бывала у Олимпіады. Встрѣчался-же он с нею еще рѣже. Даже когда она прїѣзжала, он не всегда выходил. Случалось, видѣлъ вице-губернаторскую коляску, парой, вот она около них остановилась... — и тогда он к себѣ забирался в комнату, слышал звонок, отворяют двери, а он принимался безсмысленно что-нибудь зубрить. В переднюю квартиры красавцевой входила худенькая черноглазая дама в мѣхах, для всѣх она вот такая, для него совсѣм другая, та, к кому в одиночествѣ и тишинѣ тайно он привык. Никому-бы не сказал о ней и никто ничего не знал. Но Глѣб-то знал. И вот Аннѣ Сергѣевнѣ еще показывать его мазню!

— Если ты недоволен собой, бери уроки. Вполнѣ можешь частные уроки брать. У того-же Михаила Михайлыча.

Насчет Михаила Михайлыча Глѣб даже и возражать считал ненужным. Олимпіада видѣла, что он недоволен, старалась успокоить.

— Ну, у кого вообще хочешь. Вон я в «Калужском Вѣстникѣ» видѣла объявленіе: прїѣзжая художница дает уроки. Да мнѣ и Красинцева о ней говорила. А то что-же это такое, из за пустяков изводится.

Олимпіада в примѣр привела себя: поет и поет, просто для собственнаго удовольствія — «о сценѣ-то я не думаю, не пѣть-же мнѣ в Московском Большом Театрѣ!»

Может быть, ей и не пѣть, но Глѣба это никак не

устраивало. Нѣтъ, ему надо жить — по настоящему. А так просто слоняться невозможно. Он не ребенок, слава Богу, в седьмом классѣ, весной кончает! И все еще не рѣшил, что с собой дѣлать. Не знает, есть у него дарованіе, или нѣтъ. Это главное. Остальное неважно. Если-бы дарованія не было, то почему-же так влекло его к живописи, мучило? Но если-бы дарованіе было, тогда он отлично и рисовал-бы, не томился-бы, показывал-бы и Аннѣ Сергѣевнѣ и другим, его-бы хвалили по настоящему.

Все это опять волновало и томило.

В Училищѣ Глѣб равнодушно-успѣшно скользил по всѣм «предметам», ни один его не занимал. Но в Законѣ Божіем было нѣчто безпокоившее. Не то, чтобы интересно, но несовсѣм гладко. Как несовсѣм гладко и с о. Парфеніем.

В этом году опять повторяли Ветхій Завѣтъ. К Ветхому Завѣту всегда относился Глѣб с противленіем — не привлекали ни дѣла, ни люди его. На уроках о. Парфенія он сидѣлъ теперь с независимым и скучающим видом. Если-бы Олимпиада видѣла его тут, разсѣяннаго, как-бы недовольнаго, чуть-ли не насмѣшливаго, опять назвала-бы Байроновичем.

О. Парфеній, такой-же худой, высокій, со впалой грудью, в коричневой рясѣ с золотым наперстным крестом, загадочно улыбался, полузакрывал глаза, слушая отвѣтъ какогонибудь Ерохина, снисходительно ставил «четыре» — балл для Закона Божія скромный.

Глѣба вообще вызывали рѣдко. Рѣдко спрашивал его и о. Парфеній. Глѣб к этому привык, текущими уроками пренебрегал. Его спросят, если какое затрудненіе, ктонибудь чегонибудь не понимает...

Но вот раз о. Парфеній, усѣвшись послѣ молитвы, полузакрыв глаза, обернувшись к ученикам в профиль, а лицом в училищный сад, вдруг назвал Глѣба — даже в журнал не заглянул.

Глѣб поднялся довольно небрежно. О. Парфеній продолжал смотрѣть в окно.

— Расскажите нам о всемірном потопѣ.

Глѣбу сразу-же не понравилось задумчивое и прохладное выраженіе лица о. Парфенія. Он ничего не подумал, но что-то в нем непріязненно передвинулось: считал, что его во всяком случаѣ надо — если не любить — то по настоящему признавать, сочувствовать (а правильнѣе всего — любить). Тут-же на него и не глядѣли.

Всетаки начал спокойно. Довольно толково изложил, что сказал Бог Ную, как Ной построил ковчег и взял туда с собою семью и животных. «Семь пар чистых» — это с дѣтства запомнилось, но с размаху Глѣб хватил и семь пар нечистых. О. Парфеній безстрастно поправил: нечистых всего по двѣ пары. И так-же безстрастно спросил: «а что-же такое нечистыя?» Тут Глѣб осѣкся. О. Парфеній объяснил, Глѣб пошел дальше, но уже не так увѣренно. Дождь лил сорок дней и сорок ночей. Пока ковчег плавал, Глѣб кое как еще справлялся. Но когда дѣло пошло до Арарата, он страшно начал путать. Собственно, все позабыл: кого выпускали раньше, голубя или ворона, кто что принес, и т. д. О. Парфеній молчал, уже не поправлял, только слетка, не без таинственности улыбался. На полусловѣ, наконец, прервал.

— Костомаров, продолжайте.

Серезины уши слетка горѣли и просвѣчивали. он поправил бобрѣк на головѣ, отер капельку пота на

носу, повел рассказ дальше. Тут уж без промаху. А о. Парфеній развернул журнал, с отдаленно-отвлеченным видом поставил против фамиліи Глѣба цифру два. Вот тебѣ и Herr Professor.

Глѣб никак не мог-бы сказать, что двойка эта ему пріятна. Но сидѣл с видом нѣсколько торжественно-насмѣшливым: двойку, мол, получил, и в ус не дую. С ней даже лучше.

На перемѣнѣ Сережа Костомаров, пріятель и соперник, но беззлобный, скромно спросил: «Что-же это ты Глѣб так в лужу съѣл?» Глѣб засмѣялся нѣсколько дѣланно. «Ах, ну не все-ли равно кто там раньше из ковчега вылетал. Я этому значенія не придаю».

Дома он даже довольно развязно рассказал Олимпиадѣ, что получил двойку по Закону Божію. На нее это не произвело ни малѣйшаго впечатлѣнія.

Иначе отнесся Александр Григорьич. Через нѣсколько дней, увидав на переменѣ Глѣба в корридорѣ, поманил его к себѣ.

— Да, да, пожалуйста сюда!

Горло Александра Григорьича было завязано, сам он блѣдноват и худ. Синій вицмундир как всегда застегнут, рука за спиной подбрасывает снизу фалду.

Неожиданно для Глѣба Александр Григорьич вошел в пустой рисовальный класс.

— Тут спокойнѣе. Да, спокойнѣе нам с вами рассуждать. Я вам говорю.

Гипсовые орнаменты, головы мудрецов, пюпитры для учеников, слегка подымающіеся амфитеатром, классная черная доска с рисунком перспективнаго сокращенія (мѣлом) — владѣнія Михаила Михайлыча. Только кудлатой его головы не видать — «мы не

довольствуемся приблизительным, мы требуем от ученика тщательной разработки всех планчиков».

Глѣб скорѣе даже любил это тихое убѣжище — греки, римляне, особенный запах гипса...

Александр Григорьич сѣл в первый ряд, пригласил знаком Глѣба. Каріе глаза его устали, нѣсколько и грустны.

— Вот, вот-с, вы и любите рисованіе. И все рисуете? Да. И астрономіей занимаетесь? Знаю. По космографіи отличныя отмѣтки. Да. Но не по Закону Божию.

Александр Григорьич не был ниче язвительн, ни высокомерен.

— По Закону Божию два? Немного. Рѣдкій случай. Рѣдкій случай. Почему-же-с, однако?

Глѣб довольно скромно объяснил. Понадѣялся на свою память, надо было, конечно, получше подзубрить...

— Подзубрить!

Александр Григорьич закрыл глаза. Глѣб удивился блѣдности его лица, прозрачной синевѣ вѣк.

— Предмет о. Парфенія, — тихо сказал он, все не открывая глаз, — говорит о Богѣ, Вѣчности, ожидающей каждаго из нас. О Божественной любви-с... — о Богѣ нельзя зубрить! — глаза его вдруг открылись и со страстію взглянули на Глѣба. — О Богѣ зубрить невозможно-с...

Глѣб хотѣл-было возразить, что шѣло шло не о Богѣ, а о подробностях потопа, но непривычно-серьезное лицо Александра Григорьича остановило его. Он почти смутился.

— Разумѣется, невозможно... Я неудачно выразился.

Александр Григорьич опять закрыл глаза и помолчал. Потом улыбнулся.

— Я вас отлично понимаю-с. Занимаетесь вы тѣм, что вам нравится. Нравится рисовать — рисуем. Нравится астрономія — популярная-с, популярная, Фламмаріонова! — ибо настоящая есть почти что математика, которую вы не любите... Но — занимаемся астрономіей и готовы даже ею увлекаться!

Глѣб отвѣтил довольно серьезно:

— Александр Григорьич, но почему-же мнѣ не заниматься тѣм, что нравится?

— Знаю. Все вижу. Очень пріятно. Но одной пріятности мало. Жизнь вовсе не есть пріятность. Да, да, я вам говорю...

— Я и не возражаю.

— Вы в седьмом классѣ, весною кончаете. Предстоит высшее образованіе и вступленіе в жизнь. Вы, конечно, будете инженером?

Глѣб замаялся. Но Александр Григорьич не обратил на это вниманія. Блѣдное, болѣзненное его лицо с карими глазами было совсѣм рядом. Глѣб различал поры, сѣдые волоски в узкой бородѣ, пылинки на бархатном лацканѣ вицмундира. Александр Григорьич насѣдал со спокойным упорством.

— Да, да, инженером, я вам говорю. Вы думаете, это легко? Спросите вашего отца. Тут на пріятности далеко не уѣдешь. Это жизнь-с. А жизнь построена на трудѣ, борьбѣ, преодолѣніи того, что нам не нравится, не по вкусу. И вы должны готовиться к этому. Вы — юноша уже, и вам дано довольно многое, но в вас есть своенравіе и своеволие... То вы читаете Золя, то ходите без спросу в концерты, то рисуете. Но вы ученик вѣрннаго мнѣ класса и должны с полным

тщаніем — полнѣйшим-с! — заниматься всѣми предметами, независимо от того, нравится-ли это или не нравится, интересно или нѣтъ...

«Ну вот, теперь пойдут наставленія!» Глѣб готов был впасть в скуку. Александр Григорыч пріостановился, закрыл глаза, замолчал. Минуты через двѣ вновь заговорил, тише и нѣсколько в другом тонѣ.

— Когда я был молод, то все мечтал о наукѣ. У меня были способности, математическія... Хотѣлось чего-то особеннаго... кафедру в Унiversитетѣ, труды ученые, науку двигать... Но вот оказался в Калугѣ инспектором, и до Гаусса, Абеля, Лобачевского весьма далеко-с... Но ничего. Инспектором так инспектором. Значит, так и надо. Трудись, исполняй свой долг. Нравится, не нравится, дѣлай... Жизнь идет и уходит — ничего-с. И болѣзнь, и болѣзни угнетают: но ничего-с, надо терпѣть и служить... Нездоровится? Превозмогай. Я в юности такой-же маловѣрующій был, как вы, тоже Законом Божіим мало занимался — о чем теперь и сожалѣю и стараюсь наверстать, сколько могу... и Евангеліе, Посланія, Ветхій Заветъ, все читаю-с постоянно. Да. Постоянно.

Он приблизил лицо к Глѣбу, расширил глаза.

— Вѣра иногда дается тяжело-с, опытом жизни. Но чѣм больше живешь, тѣм труднѣе переносить жизнь, тѣм болѣе нуждаешься в непреложности Истины-с. И если в Истину по настоящему вѣрить, то и жизнь надо принимать не разсуждая, как урок, заданный нам Творцом, пріятно или непріятно, выполняй, да, я вам говорю по собственному опыту. Нравится или не нравится...

Раздался звонок. Александр Григорыч встал.

Лицо его приняло вновь болѣе отдаленный, холодный оттѣнок.

И за работу-с. Да. Я с вами говорил как классный наставник. Не извольте распускаться. Я-бы хотѣл, чтобы у о. Парфенія вы вновь отвѣтили и как вам подобает. Да. Поправились-бы. Да. И никаких разсужденій. Никаких оправданій. Да. Я вам говорю.

Высокій, худой, побалтывая за спиною фалдою вицмундира, Александр Григорьич расширил строго глаза, подошел к двери, распахнул ее в корридор и жестом указал Глѣбу способ дѣйствій. Мирно-пустынный рисовальный класс с акантовыми листьями из гипса, головою Артемиды, бюстом Юпитера курчаво-бородатаго, маскою Цезаря, остался сзади. Жизнь продолжается. Сейчас слѣдующій урок.

**
*

Приближался конец четверти. Учителя выводили среднія отмѣтки. Высморкавъ воспаленный нос, Флягин спросил Глѣба: «Что-же, ты будешь поправлять пару?» Глѣб отвѣтил неопредѣленно.

Конечно, сейчас самое время. Поднять руку в началѣ урока: «О. Парфеній, позвольте поправиться». Отвѣтить подзубренный урок, отвѣтить на два три вопроса «из пройденнаго» — отмѣтка за четверть улучшается.

Но Глѣбу этого-то и не хотѣлось. Отношенія его с о. Парфеніем попрежнему были загадочны. Оба молчали. Глѣб вѣжливо кланялся при встрѣчѣ, внутренно всегда нѣсколько смущался и то обостряющее дѣйствіе, какое производил на него о. Парфеній, нельзя было назвать равнодушіем. Не была равно-

душѣм и замкнутость о. Парфенія — в мелочах обращенія на урокъ, в тонѣ вопросов это чувствовалось. Все-же о. Парфеній держался на каких-то высотах, за рвами, крѣпостными стѣнами.

Глѣб не вызвался поправляться. О. Парфеній тоже не спросил его. И так-же безмолвно, как в свое время поставил два, вывел теперь в четверти из двойки пять. «Да», сказал Сережа, «значит, он тебѣ вѣрит». «Видимо. Тебѣ тоже, конечно, повѣрил-бы». Глѣб в послѣднее время считал, что из за балла по Закону Божию спустится на третье, четвертое мѣсто. Но оказывалось, что не так. Он первый, Сережа второй. Глѣб дѣлал вид, что ему это безразлично, но под всѣми его юношескими томленіями, о которых он охотно распространялся-бы, сидѣло вот это мелкое честолюбіе. Он стѣснялся его, но оно не уходило. Глѣбу вообще хотѣлось-бы, чтобы его наполняли лишь чувства возвышенныя — романтическая влюбленность, міровая скорбь, а в дѣйствительности выходило иное. Многое совсѣм, совсѣм не романтическое сидѣло в нем — в его чувствѣ любви и женщины.

Всетаки несправедливо было-бы сказать, что вѣчные вопросы не волновали.

На одном из уроков, в концѣ октября, о. Парфеній спросил всего двух учеников, очень кратко, потом поднялся, поправил коричневую рясу и подоидя к окну, глядя на облетающія деревья сада, стал говорить об *этой*, нашей жизни, и *той*, которой мы не знаем, но обѣтованіе о ней получили в Евангеліи. Может быть, о. Парфеній был нынче в особенном настроеніи? Он смотрѣл не на учеников, а в окно, говорил тихо, медленно, но в его согбенной фигурѣ, гла-

зах огромных, в выраженіи худой руки, лежавшей на подоконникѣ, было нѣчто помимо слов.

Глѣб сидѣлъ около него недалеко, слушал внимательно. О. Парфеній отошел от окна, продолжая говорить остановился у доски. Глаза его встрѣтились с глѣбовыми. И Глѣб не мог уже отвести от них взора. Нельзя сказать, чтобы то, что слышал он сейчас, было совсѣм для него ново. Но несовсѣм обычно дѣйствовало.

— Посмотрите вокруг, — говорил о. Парфеній. — Стѣны, класс, парты, деревья за окном — это-же все тлѣн, дым, мгновеніе. Сегодня есть, завтра не будет. А мы сами? «Человѣкъ яко трава, дни его яко цвѣтъ сельный, тако отцвѣтет». Но в то время как волоска не останется от всей внѣшности здѣшней, земной, пораженной грѣхом, внутреннему убѣжищу нашему — духу предложен путь ко спасенію. «Тѣсен путь и узки врата», но предложен: приобщеніе к Царствію Божію. Путь-же погибели широк и легок — прямо ведет к гееннѣ огненной.

Глѣб не противоборствовал. В другой фаз он готов был-бы насчет геенны сразиться, поспорить, без затрудненій стал-бы утверждать, что если Христос так милостив, то как же может грозить геенною за человѣческіе грѣхи — но сейчас не было желанія спорить. Узкій-то путь есть? И погибнуть всетаки можно? Геенна, может быть, и лишь образ, но вѣдь гибель всетаки возможна? И спасеніе, свѣтъ, добро... О. Парфеній придерживал золотой наперстный крест, изрѣдка перебирая по нем пальцами. Вся фигура его высоко-согбенна, сѣрые глаза медіумичны. Вот он говорит... — и ощущает-же навѣрно *тот*, иной, вѣчный міръ, путь к которому тѣсен. И все смотрит на Глѣба, точно с ним именно разговаривает.

Глѣб ощущал легкое, пронзающее волненіе — беспокойство. Иѣг. это уже не будни, не класс, не ничтожныя отмѣтки. А что именно? Он не сумѣл-бы отвѣтить. Но не мог оставаться равнодушным.

О. Парфеній договорил свое. Звонок, молитва, не взглянув на Глѣба, медленно-согбенно он ушел. вмѣсто него приходили другіе. Козел мямлил свое «вот это как... просвѣщенный абсолютизм.. Ну, абсолютизм, ну, просвѣщенный...» Длительный, сомнамбулическій монолог все Глѣба сопровождал.

Он возвращался домой в задумчивости. Трудно понять, трудно понять... Ну, а все-таки? Может быть, так оно и есть, как он говорит? Спасеніе, гибель... Что-же, новыя доказательства? Чѣм нибудь доказал это о. Парфеній? Не доказал, и как доказывать, но... В этом «но» все и дѣло.

Когда Глѣб вошел в прихожую, в залѣ пѣли. но не голос Олимпіады, мужской, тенор.

«Гаснут дальней Альпухарры
Золотистые-е кра-я!
На призывный зво-он гитар-ры
Выйди милая-я моя!»

Снимая шинель, Глѣб в открытую дверь увидал за роялем Олимпіаду — слегка раскраснѣвшись она аккомпанировала. Полный блондин, в тужуркѣ путейскаго инженера, вытягивался на цыпочках, брал верхнія ноты. Явно, что какой-то испанец перевозносил свою возлюбленную. А кто не согласится, того дѣло плохо: вызывал на поединок.

«Всѣх, любви-ю-у сгорая,
Всѣх, всѣх, всѣх зову на смерт-т-ный б-б-бой!»

Инженер окончательно устремился ввысь, тѣлом и голосом. Глѣб усмѣхнулся, корридором прошел к себѣ. Все это он уже знал. Александр Иванович, заѣзжій инженер, пѣвец-любитель, нерѣдко бывал у них теперь. Тенор его не волновал Глѣба. Он сейчас занят был другим. Снял ранец, умылся, сѣл к своему письменному столу. Пускай они там поют. Он закрыл глаза. «Есть или нѣтъ?» В темнотѣплыли какіе-то круги, прождались и уходили многоцвѣтные пятна. Глѣб не услышал голоса «да». Но когда глаза вновь открыл, вдруг ощутил, что прежней увѣренности в «нѣтъ» тоже нѣтъ. Все показалось нѣсколько иным, слегка смѣщенным с прежних, печально-непоколебимых мѣст. Он вздохнул. Взор упал на кусок натянутой на доску ватманской бумаги с начатою акварелью. «Да, все-таки надо зайти к этой учительницѣ. Может быть, Олимпіада и права».

**
*

Театр в Калугѣ на окраинѣ, площадь, гдѣ он стоит пустыня — немощеная, кое-гдѣ травка, корова пасется, жеребенок может промчаться с дѣтским своим ржаніем.

Мѣщанскіе юдноэтажные домики вокруг, деревянные заборы, калитки. Мѣсто высокое. Открывается вид на Яченку, впадающую в Оку, на знаменитый бор. Лѣвѣе излучина самой Оки.

Солнце низко над бором. Октябрьскій вѣтер тянет могуче, облака идут прямо на Глѣба, иногда их прорѣзывают солнечные снопы, блѣдные, горькіе. Вѣтер, запах осени, огненные послѣднія рябинки...

Глѣб подошел к калиткѣ, отворил. Пес забрежал,

заметался в конурѣ. Из затхлой кухонки выльзла затхлая старуха.

— Тут уроки дает барыня?

Оказалось, что тут. Глѣб поднялся по лѣсенкѣ. На галлерейкѣ постучал в клеенчатую дверь. «Полина Ксаверьевна Розен» — да, она. Дверь изнутри отперли, полуотворили.

— Насчет урока, сказал Глѣб несмѣло.

— Входите.

Пестрая помятая тахта, мольберт, (на нем неоконченный этюд — цвѣты), стаканчики с мутно-цвѣтной жидкостью. Кисти, по подоконнику тюбики красок, окурки, измазанная палитра.

— Извините, руки не могу подать... вся в краскѣ.

Однако, этими пальцами ужитрилась Полина Ксаверьевна держать папиросу — правда, отпечатывая на ней узоры. — Вот, садитесь, этот стул покрѣпче.

Глѣб снял ученическую фуражку, не без робости сѣл. Полина Ксаверьевна, дама немолодая, худая, с большими глазами, довольно безпокойными, с прической никак не от парикмахера, стояла перед ним, рассматривала его.

— Урок? Учить? Вас? Что-же вы хотите дѣлать?

Глѣб, как умѣл, объяснил. Она слушала, обтерла пальцы ю весьма сомнительное полотенце, закурила новую папиросу.

— Акварелью занимаетесь? Именно акварелью? Просто для себя?

В ней было что-то нервное и непокойное.

Лицо ея не весьма Глѣбу понравилось — растрепанные волосы, желтоватые крупные зубы, блѣдные глаза... — но вся юна вызывала скорѣе сочувствіе. «Странная». Глѣб таких не видал в Калутѣ.

Вымыв руки в умывальникъ с мраморною доской и педалью, она стала грѣть на спиртовкѣ воду для чаю. К Глѣбу присматривалась, разспросила кто он и что. Красинцеву знала и фамилію Красавца слышала.

— Ну, ладно. По средам и субботам. Принесите свои работы, посмотрѣть в чем дѣло. Да, конечно, в этой Калугѣ и показать некому. Дыра! Хотите чаю? Печеній и конфет нѣтъ, но как артисты мы можем довольствоваться и кусочком сахару. Роскошь не для нас.

Глѣб поблагодарил, от чаю отказался.

— Я здѣсь третій мѣсяц. Мы жили... т. е: вѣрнѣе я, (она почти разсердилась) — я жила перед этим в Самарѣ, там преподавала живопись... сама-то я петербургская. Но Самара тоже мерзкій город — не такой, впрочем, как ваш. Во всяком случаѣ мерзкій. Здѣсь я поселилась в лачугѣ преимущественно потому, что мѣсто красивое. Вон, взгляните, солнце заходит... — какая прелесть!

Она подвела Глѣба к окну. На закатѣ небо расчистилось, осеннее солнце, садясь и краснѣя, коснулось бора за Яченкой — крѣпких зеленых его шлемов. Домики, заборы, полуголыя деревья в садах прощально зардѣлись.

Глѣб стоял рядом с Полиной Ксаверьевной. От нея пахло скипидаром, глаза ея нервно блестѣли.

— Если в вас есть художник, вам должно нравиться это солнце, вид...

Она обернулась. Солнце выхватило огнем кусок красной матеріи над тахтой — она пылала.

— Какая роскошь! Мы будем писать натюрморты, я научу вас добиваться этого огня в красках. Видите

мой этюд? Масло, но и в акварели мы зайдем пожар...

Да, это не планчики Михаила Михайлыча.

— Я был в Москвѣ, в Третьяковской галереѣ, сказал Глѣб: мнѣ очень понравились картины Левитана.

Полина Ксаверьевна одобрила. Она стала рассказывать, что знала в Петербургѣ много художников и муж ея кончил Академію, он портретист... и в Петербургѣ они отлично жили, но потом пришлось перебраться в Самару. Ну да, вообще... — она вдруг поперхнулась и опять достала этюд: это, видите, упражненія уже в рисункѣ.

Солнце зашло, огонь над тахтой погас. Бор замер, мір похолодѣл. В комнатѣ сразу стало сумеречно. Глѣб взялся за фуражку.

. Полина Ксаверьевна пристально на него смотрѣла — папироса во рту, сама у двери прямая, худая. Бросила окурок, протянула руку.

— Значит, первый урок в среду?

— В среду.

— Но пораньше приходите, пока свѣтло.

Глѣб спустился по лѣсенкѣ, молча и неторопливо пошел через площадь.

Становилось темнѣе. У подъѣзда театра зажгли керосиновые фонари.

Что-то заброшенное, пустынное показалось ему и в площади этой, и в громадѣ театра. А жильѣ Полины Ксаверьевны? Мансардная комнатка, сейчас будет лампочка, чай, папиросы, ужин на спиртовкѣ. «Как все печально...» Глѣб был и возбужден — несомнѣнно, он может теперь прикоснуться к другому, высшему міру живописи, чему нибудь научиться. Но

Полина Ксаверьевна эта... — табак, запах скипидара, убожество всего вокруг!

Медленно, тучей напоздала на него юношеская меланхолия.

Он подошел к театральному подъезду. Здѣсь по крайней мѣрѣ лицевѣйствуют. Тут видѣл он нѣкогда «Уріэля Акосту», позже «Гамлета», в другой сезон «Африканку», «Аиду» (десять статистов изображали египетскія войска; уходя в одну дверь — через другую калужскіе египтяне появлялись опять, чтобы вновь уйти, вновь появиться). «Травіата» сладостно умирала, «Кармен» волновала несбыточною любовью. Театр, актрисы, их загадочная для него, блистательная жизнь... — Все это уязвляло.

Окошечко кассы свѣтилось. Пара лошадей в коляскѣ у подъезда. Глѣб не собирался брать билета, но зашел почему-то в вестибюль. Небольшая худенькая дама в сѣром костюмѣ отходила от кассы. Глѣб чуть не столкнулся с нею — сразу плеснуло кипятком.

Анна Сергѣевна протянула ему руку.

— И вы сюда? На «Цѣну жизни» берете?

— Нѣтъ... я так... вообще.

Глѣб уже знал, что самое глупое отвѣчать: «я так...» но именно это и сказал — окончательно смутился. Черные глаза ласково на него глядѣли. Пахло духами.

— А как мы тогда славно были на концертѣ Гофмана! Помните?

— Да, концерт... — Глѣб с восхищеніем, и почти ужасом смотрѣл на нее. Слов никаких не мог найти, но и так все было ясно.

Анна Сергѣевна улыбнулась.

Коляска стояла уже перед ними.

— Садитесь, подвезу вас.

Глѣб поблагодарил, отказался. Соврал, что ему надо в двух шагах к товарищу. Вранье было неумѣлое, но понятное. Анна Сергѣевна вздохнула.

— Никто не хочет со мною выѣзжать. Значит, так уже мнѣ на роду написано.

Коляска тронулась. Глѣб отошел от театра, по Садовой зашагал домой. Тоска, но со сладостно-восторженным оттѣнком, еще сильнѣе раздирала его.

**
*

Глѣб ходил на уроки исправно — как ни убог мезанин на Театральной площади, все-же художница совѣм непохожа на Михаила Михайлыча.

Разумѣется, она сразу забраковала манеру Глѣба.

— Это хорошо для провинціальных барышен, а не для вас. Я вижу в ваших работах любовь к дѣлу и извѣстное изящество, но совѣм неправильную школу. Если-бы вы обучались тѣнию, надо было-бы сказать: голос есть, но неправильно поставлен.

И Полина Ксаверьевна занялась постановкой глѣбова голоса.

Они сразу стали писать натюрморт: вазу, плоды, кусок матеріи. Все это в крупных размѣрах, со смѣлостію, Глѣба сначала и удивлявшею. Но Полина Ксаверьевна больше всего боялась «зализанности», «мѣщанства» в приѣмах.

— Калуга! бормотала она, нанося кистью рѣзкій удар по какому нибудь рефлексу на блюдѣ. — Это Калуга. Вышиваніе бисерных кошельков. Купцы, мѣщане, раскормленные красотки вродѣ вашей тетуш-

ки, которую я недавно встрѣтила у Красинцевой. Как я все это ненавижу! Буржуа!

Глѣб не слыхал в Калугѣ такого слова, да кромѣ как от Полины Ксаверьевны и не от кого было-бы слышать. Полина Ксаверьевна, оказывается, бывала не только в Петербургѣ, но и в Парижѣ. От нея он впервые узнал, что там есть художники-импрессионисты.

— Если-бы ваша Красинцева увидѣла, как пишут французы, она-бы в обморок упала от ужаса.

Красинцеву Глѣб почти не знал, она никак не могла быть «его Красинцевой», но Олимпиада дѣйствительно его тетушка, не то, чтобы он за нее отвѣчал, но все-таки с этой новой позиціи она стала казаться ему еще болѣе провинціальной.

Олимпиадѣ Полина Ксаверьевна тоже мало понравилась. Как-то сказала она Глѣбу:

— Познакомилась с твоей художницей. Выдра, и с претензіями. Курит безперечь, пропахла скипидаром, масляными красками... Нѣтъ, если-бы я была в тебя влюблена, я бы к ней не ревновала. Ты на такую не польстишься.

Глѣбу это не весьма понравилось. Польстился-бы он или нѣтъ — это его дѣло. Многое в нем появлялось такое, о чем ранѣе он не имѣл понятія. Но все это — тайный, подспудный мір, запечатанный. Тетушкѣ туда ходу нѣтъ.

— Голубчик, сказала ему Олимпиада в другой раз, весьма даже ласково: уж конечно я понимаю, что тебѣ скипидар не может нравиться. Но подозреваю другое. Ты разумѣется, такой тихоня и такой скрыгник, что ничего не скажешь. Пари держу: Анна Сергѣевна.

Глѣбъ разсердился, покраснѣлъ.

— А по моему ты с этим инженером что-то уж очень распѣваешь.

Глѣбъ мало интересовался кѣм либо кромѣ себя. В дѣлах любви был совершенно неопытен, и если сказал это сейчас, то вызванный самой Олимпіадой, в полу-игрѣ, самозащитѣ.

Олимпіада отнеслась спокойно, но практически. Подошла к двери, взглянула, нѣтъ-ли кого в сосѣдней комнатѣ. Потом улыбнулась Глѣбу, взяла его за уши и поцѣловала в лоб.

— Скажи, очень замѣтно?

Глѣбъ засмѣялся.

— Профессор-профессор, ученая голова, а вот доглядѣлъ...

И сразу перемѣнила тон.

— Это все пустяки. Если-бы не твой дядюшка, так и говорить не о чем. Подумаешь, правда, попѣть нельзя. У Александра Иваныча очень милый тенор, и во всяком случаѣ «Гаснут дальней Альпухарры...» у него выходит очаровательно. Да, но дядюшка!

Она слегка и недовольно хмыкнула.

— Выдумывает Бог знает что. И этот гонор польскій!

Глѣба мало занимали отношенія Красавца с Олимпіадой. Все-таки и он замѣтил, что за послѣднее время дѣла здѣсь стали хуже. Случалось, что Красавецъ вскипал бессмысленно, за вечерним чаем. Олимпіада упрямо, холодно твердила свое. Вообще-же Красавецъ стал нервнѣе и раздражительнѣй.

Олимпіада прохладно взглянула на Глѣба.

— А во всяком случаѣ, для тебя ничего не дол-

жно быть. Молчишь — и помалкивай. Ничего нѣт. Все глупости.

Глѣб был нѣсколько даже удивлен. Очень ему интересно, нравится тетушкѣ или не нравится какой-то инженер с милым тенором! Ревнует Красавец или не ревнует — тоже событіе не из важнѣйших. Олимпиада могла быть покойна: ничто со стороны Глѣба не угрожало.

Он поглощен был совсѣм иным. Учился попрежнему — по инерціи хорошо, точно был снарядом, вылетѣвшим из пушки: надлежит описать дугу и упасть куда надо. Это значило — весной первым и кончить, обратиться на время в «штатскаго», а там и студенчество. Но «настоящее» вовсе не это, а то: вот теперь, у Полины Ксаверьевны и должно выясниться, есть у него дарованіе, или нѣт. Все это надо установить при помощи натюрмортов или этюдов с натуры. Писали и арбуз, и разрѣзанную дыню, жалкій столик драпировали «восточными» тканями. Полина Ксаверьевна нервничала, курила. Ругала Калугу, жаловалась на безденежье. Время-же шло. Воробьи доклевали послѣднія красныя рябинки. Колеи пред театром стали мерзло-коляными, из за Яченки тянуло холодом. Талант Глѣба не спѣшил раскрываться. «Вы дѣлаете безспорные успѣхи», говорила, как всѣ учительницы, Полина Ксаверьевна: «развѣ можно сравнить вашу теперешнюю манеру с тѣми дѣтскими вышиваніями, какія вы мнѣ тогда приносили?» И с удвоенным рвеніем писали они вид из окна на дворик — так, чтобы и французским импрессионистам стало тошно.

- - Да, Париж мало похож на этот город. Но и там художники, пока их не признали. бѣдствуют.

Зато это жизнь! Не мѣщанство! Латинскій Квартал, Одеон, Люксембургскій сад... Голубизна Парижа, терраса кафэ, Обсерваторскія аллеи...

Глѣба такіе рассказы волновали. Он их слушал охотно. Не знал, разумѣется, что особо-прекрасен Париж для Полины Ксаверьевны потому, что там они с мужем любили друг друга, надѣялись выбиться, вѣрили и не думали ни о Самарѣ, ни об одиночествѣ в Калугѣ.

А между тѣм ход бытія в этой самой Калугѣ подчинялся всеобщему закону: в одну ночь весь вид на дворик безнадежно испортился — выпал снѣг, туманно-прохладно все забѣлил, хоть гуашью пиши по темному картону.

Глѣб, выходя от Полины Ксаверьевны, пересѣкая площадь, всегда впадал в нѣкоторую романтическую тоску, доставлявшую и сладость, и боль, далеко удивившую воображеніе. Проходя мимо театра, гдѣ тогда встрѣтил Анну Сергѣевну, каждый раз вновь надѣялся ее встрѣтить — другой частью себя самого был увѣрен, что не встрѣтит. А если-бы встрѣтил? Опять чтонибудь буркнул-бы и удрал — в одиночествѣ жаждая встрѣтить. И уж конечно никогда не сдѣлал-бы шага дѣйствительнаго, чтобы с нею побыть.

Театр сумрачно теперь воздымался в синѣющей бѣлизнѣ сумерек. От желтаго свѣта фонарей снѣг казался еще синѣе. Глѣб меланхолически шагал со своей папкою, гдѣ лежали акварели, долженствовавшія затмить импрессионистов. Он выходил на Садовую. В каждой проѣзжавшей дамѣ мерещилась Анна Сергѣевна — теплая волна лилась к ногам. Но каждая была не та. Приближался базар, Глѣб сворачи-

вал мимо дома полицмейстера вправо, верхом оврага, сокращенным путем выходя к своей Никитской. По ней, в маленькой фуражкѣ прусскаго образца, часто сморкаясь, гулял, ухаживая за барышнями Флягин.

Так, в медленном своем теченіи, проходил послѣдній год Глѣба в Калугѣ. По разным линіям шла жизнь — в нем и вокруг него. Сам он ходил в Училище, мучился неопредѣленностью, тосковал от являющейся взрослости. Красавец и Олимпиада вычерчивали заданныя им кривыя. Сережа Костомаров неизмѣнно был вторым. Михаил Михайлыч неизмѣнно требовал заборки и не удовлетворялся «приблизительным». Козел вмѣсто «Атлантическій» говорил «Антлатическій». Александр Григорьич чаще прихварывал, блѣднѣл, слабѣл. Полина Ксаверьевна мерзла в своем мезанинѣ и проклинала Калугу.

Калуга-же, являясь частію Россіи, вмѣстѣ с ней и катилась по дорогѣ налаженной, с тяжким грохотом и громоздкостью старомоднаго экипажа, кучер котораго и сидящіе в нем не замѣчают его старомодности. Верхи Россіи тоже жили по многолѣтнему. Появлялись одни сановники, смѣнялись другими, чтобы вновь быть смѣненными. Казалось, что всегда так и будет в «Богохранимой странѣ нашей Россійской» — все, по неизмѣнным законам, будет управляться одною подписью — той, которая и доселѣ, смѣняясь от отца к сыну, поворачивала огромный груз как бы невидимым рычагом. Поворачивая вела к цѣлям, о которых, разумѣется, и вовсе ничего не знала. Как никому не было извѣстно и не есть извѣ-

стно, куда плывет и для каких цѣлей та планета, шестую часть поверхности которой занимает Родина никому невѣдомаго Глѣба.

Глѣб-же, на Рождествѣ, пріятно и мирно съѣздитъ домой в Балыково. Это путешествіе — сплошь чувство зимы, снѣга, мороза — и удивительной теплоты: внѣшней от превосходной дохи, в которой везли его балыковскіе кони, от теплаго дома, от устроенной прочной жизни. Внутренняя теплота заключалась в воздухѣ благоволенія, куда сразу он попал, материнской любви, музыки Лизы, праздности, удивительнаго спокойствія.

Глѣб жил в маленькой своей комнаткѣ, почти дѣвической, с бѣлыми занавѣсками. С завода в дом провели электричество (роскошь необыкновенная!) Из окон всюду снѣг. Парк, саровскія сосны, красный стеклянный шар пред балконом, глупый, но милый, все занесено снѣгом. Ни в парк, никуда кромѣ людской и завода нельзя выйти без лыж. Глѣб мало и выходил, а когда случалось, с наслажденіем вдыхал трескучій воздух, слышал стрекот сорок, слушал дальній шум строевых сосен — зимній, отвлеченно-возвышенный гул русскаго лѣса. Бѣлизна, бѣлизна, холод, холод, тепло, тепло — в них живешь не раздумывая.

Глѣб в этот пріѣзд не вынимал ружья. Из окна большой комнаты матери радостно — и как казалось — хорошо написал акварелью занесенную снѣгом голубятню. «Сыночка сдѣлал большіе успѣхи», сказала мать. «Прелесть как нарисовал». Отец тоже похвалил. Глѣб рѣшил подарить эту «картинку» матери: покойнѣе будет. Написана-то она хоть и мило, но все-таки... Привезешь с собой, пожалуй Полна

Ксавьеревна и забракует. Голубятня в бѣлом снѣгу так и осталась в Балыковѣ, радостію для матери, никак не представлявшей себѣ, что значит для Глѣба живопись. Просто мать радовалась, что сыночка, хорошо учащійся, хорошо и рисует — в этом, впрочем, не было для нея ничего удивительнаго: на то он и сыночка, чтоб все дѣлать, как слѣдует.

Прогостив больше положеннаго, опаздывая к началу ученія, Глѣб с Лизою ранним утром выѣхали, наконец, на Муром — в шубах, валенках, глубоко засаженные в пошевни, затянутые бараньей полостью, в мѣховых шапках — цѣлый день полудремали в сумрачных ардатовских и арзамасских лѣсах. Прежде шопаливали здѣсь грабители. Раскольники укрывались нѣкогда в потайных скитах. Люди Мельникова-Печерскаго, хоть и по ту сторону Волги, жили в таких-же лѣсах.

Ни матери Манеѣ, ни Фленушки Глѣб с Лизой по дорогѣ не встрѣтили, ночевали на горном заводѣ в «господском домѣ», в комнатах просторных, с тяжелыми драпировками и застоявшимся воздухом. Утром опять тронулись до свѣту, чтобы поспѣть в Муромѣ к поѣзду. И послѣ двух часов пути по лѣсам выѣхали вдруг на синѣющій простор Оки. Дорога шла теперь в ровной глади — заливные луга, русло Оки — все завѣяно снѣгом, глаз слѣпнет от однообразной, с легкими цвѣтными кругами, бѣлизны. Вдали крутой берег, по нем колокольни, строения, запущенные сады Мурома.

На безлюдном вокзалѣ муромском Глѣб с Лизой весело ѣли горячій борщ, телячьи котлеты на ножках и ждали поѣзда. В полдень состав подали, вагон микст перваго-второго класса робко подходил к пер-

рону — слегка вздрогнул и остановился. Носильщик понес в него чемоданы. А через полчаса купола, кресты, дома и сады Мурома, туманные лѣса за Окой — все стало удаляться в погромыхиваніи колес. Тепло струилось по корридору. Пахло русским зимним вагоном. Поѣзд ускорял ход.

До Москвы далеко — разные Вязники, выход с муромской вѣтки на магистраль Нижняго, древній город Владимір со знаменитым Собором Дмитровским, лѣса, топи, болота, подвырубленный уже лѣс, все укрытое милым снѣгом — может быть, в чащѣ безмолвной бродят сейчас рогатые лоси глѣбова дѣтства? Все это Россія, глушь, лѣтом комары, торфяники под Орѣховым-Зуевым, непролазныя дебри...

«Сторона-ли моя, ты сторонушка,
«Вѣковая моя глухомань!»

Неторопясь, но в концѣ концов появилась и Москва, Глѣбу слегка уже знакомая. Распрощавшись с Лизою он один довершил путь.

Калуга тоже подошла снѣжная, тихая, в карканѣ ворон, мягких ухабах на Московской, золотых крестах на куполах заснѣженных.

В квартирѣ Красавца все было попрежнему, только его самого нехватало — он уѣхал в уѣзд со слѣдователем, на вскрытіе. Олимпиада встрѣтила Глѣба привѣтливо, показалась особенно оживленной. «Ну, отоспался, отсидѣлся там с медвѣдями? Сытый стал, гладкій...» Она поцѣловала его, обдала теплом, здоровьем, запахом духов и молодого тѣла.

— У нас сегодня отличный обѣд, — уха, пирог, дичь, даже бутылка шампанскаго. Будет Александр Иваныч. Я очень рада, что ты приѣхал.

Глѣбъ не без удивленія на нее взглянул.

— А ты похорошѣла без меня.

— Значит, говорим друг другу пріятности. Тѣм лучше.

Глѣбъ вспомнил ту Олимпіаду, с которой здѣсь-же встрѣтился впервые два года назад — сонную и раскормленную, наблюдавшую из окна движеніе по Никитской — и не узнал ее. Она и не она. Тѣ-же черты и не тѣ-же, ах, как странно мѣняется все...

И если-бы он был старше, лучше знал жизнь, то отлично-бы понялъ, что дѣйствительно Олимпіадѣ удобнѣе, чтобы она обѣдала в домѣ Красавца не наединѣ с Александром Ивановичем, а при племянникѣ.

Александр Иванович подкатил к шести на лихачѣ, в передней обтирал платочком намерзшіе усы, преподнес цвѣты Олимпіадѣ, благоухал шипром. Оправляя свой путейскій сюртук, входя в столовую, здороваясь, подхохатывая с заливцем, дѣлал все это так, как сотни путейских инженеров того времени. (В живописи он цѣнил Клевера. Читал Лейкина, обожал оперетку). Глѣбу напомнил Александр Иванович Илев. Но теперь Глѣб менѣе стѣснялся. Александр Иванович с ним держался вѣжливо, привѣтливо, как-бы со взрослым. Налив себѣ и ему по рюмкѣ водки, чокнулся «как с будущим коллегою». «Я совѣтую вам поступить в наш Институт. Это лучший в Петербургѣ. Дорога широкая открывается потом — желѣзная!» Он засмѣялся. Олимпіада тоже. «Нѣтъ, без шуток. Карьера, я вам доложу. Конечно, лѣтом надо учиться, готовиться к конкурсному экзамену. Зато осенью Петербург, студенчество...»

Сіяя синими глазами Олимпіада замѣтила:

— Глѣбъ, кажется, предпочитает искусство, живопись.

— Это и великолепно! Он превосходно будет раскрашивать свои чертежи, проекты. Профессора это очень цѣнят. Чтобы сдѣлать хорошій чертеж, надо быть в своем родѣ художником.

Глѣб выпил еще водки, в головѣ было уже «не то». Олимпиада рокотала ласково, Александр Иванович считал его почти инженером. Обѣд получался нескучный. Шампанское Александр Иванович откупорил превосходно, пробка стрѣльнула, но пѣну он ловко спустил в бокалы, она задымилась, поѣхала вверх, а внизу заиграли вѣчные, на поверхность взбѣгающіе пузырьки в золотистой влагѣ. Олимпиада блаженно хохотала. Хорошо, что Красавца не было.

И во всяком случаѣ обѣд удался. Он закончился дуэтом в залѣ. («Не искушай меня без нужды»). А потом Олимпиада надѣла ротонду и они поѣхали с Александром Ивановичем на том-же лихачѣ, на котором Глѣб ѣздил с нею в концерт — «прокатиться по городу».

Глѣбу тоже не захотѣлось оставаться. Он одѣлся и вышел... — никуда не выйдешь, кромѣ Никитской, главной артеріи торговли, катаній, эроса. Идти недалеко — только спуститься с лѣстницы. Если взять от подъѣзда налево, с уклоном вниз, то начнутся торговые ряды екатерининских времен, тяжело-вѣсные, с колоннками, аркадами, зубцами. Во времена Гоголя купцы играли здѣсь в шашки у дверей своих лавок. Гоголь тоже иной раз сражался.

Этой частью Никитской менѣе занимались гимназисты. Эрос процвѣтал выше. Там гуляли стайками барышни разных пород, назначались встрѣчи. Бродили надзиратели, наблюдали, чтобы ученики не слишком возжигались. Классная дама слѣдила за ро-

зовощеками своими дѣвицами в коричневых платьях с черными фартучками. Глѣб повернул туда.

Лихачи наперегонки с «собственными» катят по серединѣ улицы, дымя снѣжною пылью, бухая на ухабах. Молодые приказчики, офицеры, дамы, барышни, гимназисты парами и компаніями гуляют по тротуарам — скромн свѣт уличных фонарей! Пахнет свѣжестью, снѣгом, иногда нехитрыми духами.

У табачнаго магазина Рофэ Глѣб встрѣтил друзей: уши Сережи Костомарова пламенѣли на холоду. Флягинскій нос за каникулы еще подпух, прусская фуражка сидѣла совсѣм на затылкѣ. Встрѣча была дружеская. Прошлись, шоболтали. Флягин, впрочем, недолго с ними пробыл. «Этого модистона я не могу пропустить» — и рѣшительно вырвался вперед: не то надо пристать к незнакомкѣ, не то был он уже знаком и дѣлал привычную диверсію.

Сережа Костомаров ни к кому не приставал — тоненькій, в веснушках, опрятно одѣтый, рассказал Глѣбу новости по Училищу.

— Знаешь, очень болен Александр Григорьич. С сочельника слег. Что-то очень серьезное. Говорят, ему не встать.

Сережины голубые глаза были покойны. Нервностью он не отличался.

— В классѣ хотят, чтобы мы с тооой его навѣстили. Как представители. Всетаки, он седьмой год наш классный наставник.

«Мы с тобой» — значит лучшіе ученики. Глѣб сразу понял.

— Какая-же у него болѣзнь?

— Кажется, что-то в печени. Боли ужасныя.

Глѣб вздохнул.

— Разумѣется, надо сходить.

Погуляли еще, поболтали, видѣли много дам и барышен, но знакомых никого. А потом распрощались. Глѣб один, медленно шел вниз. Никитская понемногу пустѣла. Ему казалось, что она становится и темнѣй. С неба налетал теперь вѣтер, порывами, взметал мелкія снѣжинки. Что-то мѣнялось в погодѣ, может быть, метель начиналась. Глѣбу вдруг ясно представилось, как этот мелкій снѣжок начинает стрекотать по окнам краснаго домика в Георгіевском переулкѣ, гдѣ лежит Александр Григорьич. «Боли ужасныя... Да, навѣстить.» «Представители седьмого класса». Он никогда не видал тяжело-больного. Сейчас болѣзнь, одиночество, смерть как то слились для него с этим слѣпым небом, заметюшкой, пустынной Никитской. Как печальны и одиноки фонари! Как быстро ушли всѣ люди и остался он один пред этим нѣмым, бѣлесым небом, разверзающимся все сильнѣе снѣгом...

Страшно, навѣрно, умирать. Да, вот прохватывал их Александр Григорьич, говорил «никаких оправданій», ставил пары...

В желтом и убогом свѣтѣ фонарей, уже заметаемых, Глѣб брел назад, к своему дому. У подѣзда остановилась вице-губернаторская пара. Из саней вышла дама в каракулевой кофточкѣ с сѣрым мѣховым воротничком. Она явилась откуда-то в эту зимнюю ночь — почему? Знакомый кипяток полился по ногам. Глѣб круто повернул и пошел опять вверх по Никитской. Гдѣ спокойствіе и тишина Балыкова? Там он нѣжно и сладостно о ней вспоминал, не было там ни тьмы, ни метели. Дойдя до перекрестка, оста-

новился. Он ждал здѣсь. Низачто не вошел-бы теперь к себѣ в квартиру. Он ждал ее здѣсь.

Анна Сергѣевна не застала Олимпиаду. Спустившись с лѣстницы, сѣла опять в сани и поѣхала вниз по Никитской.

**
*

Отец Сережи Костомарова шил нѣкогда Глѣбу первую гимназическую шинель. Глѣб и теперь одѣвался у него, в небольшом магазинѣ на Никитской, против гимназіи. Брат Сережи, постарше, но такой-же ушастый и исполнительный, снимал мѣрку. (Отмѣривая сантиметром на Глѣбѣ, диктовал подмастерью: пэ-пэ пятьдесятъ два, и т. п.). Сережу «пустили по ученой части». Но держали строго — все в семьѣ было сурово, трудолюбиво, деспотично. В дѣтствѣ не раз доставалось ему от отца — он рос не таким барченком, как Глѣб. Надо так надо, рассуждать нечего. Учись, дѣлай что велятъ, усердствуй до капельки пота на веснушчатом носу. Сережа и усердствовал. Честолюбив, впрочем, не был: только-бы «папочка не заругался».

Он был и усидчивѣй, и добросовѣстнѣй Глѣба. Добросовѣстнѣе отнесся и к порученію насчетъ Александра Григорьича.

Глѣбу не очень хотѣлось идти. Он под разными предлогами оттягивал. «Ну, на той недѣлѣ...» А потом: «Ах, у меня как раз сегодня урок у Розен». Но Сережа считал, что раз взялись, надо сдѣлать. Он скромно настаивал. «Знаешь, Глѣб, у него все учителя уже перебывали. И Михаил Михайлыч, и Козел... неудобно».

Наконец, условились — в воскресенье в два часа. Сережа к Глѣбу зашел. Он попал не особенно удачно: Красавец только-что устроил бурный бенедикс Олимпіадѣ. По квартирѣ прокатились гоноровыя его рулады, хоть и тенором, но звонко: «Моя жена не может так вести себя! Это скандал, не допущу!» Был даже удар кулаком по столу. Олимпіада плакала у себя на постели, накрыв голову платком. («Грубый человек, не понимает душу женщины!») В передней Сережа нос с носом столкнулся с Красавцем, красным от гнѣва, с трясущейся челюстью, надѣвавшим свой полуцилиндр и желтыя перчатки. Увидав Сережу, поджал губы. «Да, к Глѣбу... да, пожалуйста.» И накинув шубу, с видом оскорбленнаго, вполне непонятаго и одинокаго человека прослѣдовал на лѣстницу.

Сережа очень смутился. Но что подѣлаешь... Через нѣсколько минут он шагал уже с Глѣбом по тепельным тротуарам Калуги.

Солнечный день, сосульки, стеклянная капель... какой воздух! Как блестят лужи, ярятся воробьи! Шуршащим горохом слетает их стайка с полуобтаявшей крыши — налетят на кофейную, протыкающуюся дорогу, разберут что надо, пред первым приближающимся извозчиком опять — пр-р-рх на другую крышу.

Глѣб шел в нѣкотором смущеніи. И дома вышло неприятно, и день этот вызывает блаженную, бессмысленно-стихийную радость, а идут они по такому дѣлу...

Александр Григорьевич жил недалеко, в Георгіевском переулкѣ близ Никольской. Пока был здоров, вел прочно-сложившійся образ жизни: днем в Учи-

лицѣ, вечером дома. Вечером с улицы виден был его профиль — в креслѣ, укутанный плѣдом, под высокой стоячею лампой с абажуром читает он книгу, вполне неподвижно. Двигается Катя, он нѣт. Он читает. Так было. Но с Рождества измѣнилось. Окна завѣшены, ничего с улицы не увидишь.

У входной двери Глѣб и Сережа заробѣли. Глѣб нетвердо сказал: «Я сегодня ужасно плохо себя чувствую. Может быть, ты вмѣсто меня скажешь? Ты лучше говоришь.» «Нѣт. нѣт, уж как условились.» Сережины глаза нѣсколько даже испуганно на Глѣба взглянули. «Тебѣ класс поручил, ты и говори.» «Я не отказываюсь, но...»

Отворила дверь бывшая Катя Крылова. По ея лицу видно было, какая тут жизнь. «Мы... от седьмого класса...» Глѣб поперхнулся, начало ораторства его было неблестяще. «Сейчас узнаю. Если только он не задремал...» Катя вышла. Глѣб с Сережей стояли в маленькой передней, сняв фуражки. В квартирѣ совсѣм тихо. Душно, пахнет лѣкарственно-сладковато.

Через минуту вошли в комнату Александра Григорыча. Запах лѣкарств усилился, но не безобидных ипекекуанов, ляписов дѣтства и материнской заботливости. Глѣб знал, что у больного должно быть полутемно. Когда сам он хворал, всегда задерживали занавѣски на окнах. Но здѣсь все другое. И на обычной постели своей лежит не обычный больной Александр Григорьевич с грѣлкою на животѣ, а нѣкоторый подсудимый, суд над которым идет в этой же страшно-мертвенной комнатѣ. Сходство с «тѣм» Александром Григорычем, ставившим кому надо колы, кому надо пятерки, у этого было. Но отдаленное.

Увидав Глѣба и Сережу он улыбнулся. Они робко сѣли на диванчик. Глѣб собрал всѣ свои силы.

— Александр Григорьич, класс... наш класс, который является... и вашим классом, поручил нам...

Глѣб чувствовал себя неважно. Но обязательство на нем лежало. рядом сидит Сережа, скромно посапывает. Александр Григорьич смотрѣл умным своим, карим взором не то одобрительно, не то чуть насмѣшливо. И Глѣб старался. Класс просил их осведомиться о его здоровьѣ, выразить искреннее сочувствіе, пожелать, чтобы скорѣе он оправился...

Выходило натянуто и торжественно.

— Хорошо. Превосходно-с. И сказано краснорѣчиво. Да. Но и само краснорѣчіе принимаю с признательностію. Краснорѣчіе не такая легкая вещь и в нем надо упражняться. Да. Упражняться-с — он вдруг расширил глаза и Глѣбу показалось, что прежній Александр Григорьич появился: вот сейчас запустит руку под фалду вицмундира, потрясет ею, поставит неполный балл.

Вступил и Сережа.

— Александр Григорьич. у нас в классѣ всѣ ужасно жалѣют, что вы больны.

— Тронут. Глас народа. Жалѣют... — он опять расширил глаза. — Это пріятно слышать. Двоек некому теперь ставить. Да. Двоек. Но и вы... я рад, что вы тоже обо мнѣ вспомнили. Да. Оба. Катенька слышишь? Порученіе от класса.

— Что-же, это очень мило с их стороны. Я тронута.

— Вот именно. Мило. Вполнѣ мило.

Александр Григорьич приподнялся на локтѣ, посмотрѣл на Глѣба.

— Ну, а как-же вы сами? Я давно вас не видѣл. Все по прежнему? Чтеніе пакостнаго Золя? Астрономія по Фламмаріону? Живопись? Говорят, вы берете теперь уроки на сторонѣ? Да. На сторонѣ. Без Михаила Михайлыча. А если он обидится? У какой-то заѣзжей художницы?

Глѣб удивился, что и такія вещи ему извѣстны.

— Ничего, ничего. Дѣйствуйте, работайте, пробуйте. Не так-то легко допробоваться... — он опять строго расширил глаза. — Но надо! Урок задан, его надо выучить... и чтобы на полный балл! В жизни ничего легко не дается, ничего-с! Да. И никаких возраженій. Даже умереть не так просто. Не так. Да. И никаких оправданій!

Александр Григорьич замолчал, смотрѣл теперь прямо и строго, не на Глѣба и не на Сережу, а мимо. Во взглядѣ этом было что-то странно-упорное и убѣжденное. Есть и есть. Надо и надо. И самой смерти мог-бы он поставить неполный балл.

Глѣб чувствовал себя неуютно. Что-то его томило. Жаль было Александра Григорьича, но как всегда что то в нем и останавливало, стѣсняло.

Александр Григорьич опять стал проще, спрашивал об отдѣльных учениках. («Флягин все сморкается? Да, да. Лѣнище. В математикѣ понимает, но лѣнище. Ничего не дѣлает. Останется на второй год.») Спросил, хорошо-ли идет у них тригонометрія. Сережа отвѣчал с точностью, простотою, спокойствіем.

— Да, в Императорское Техническое? Превосходно. Я в вас увѣрен, Костомаров. Вы всегда были серьезным учеником.

Он взглянул на Глѣба. Что то скользнуло в карем его глазѣ. Он чуть усмѣхнулся.

«Я чѣм-то ему неправлюсь» — не подумал, а смутно как-бы ощутил Глѣб.

Александр Григорьич замолчал. Поправил грѣлку, слегка вытянулся на спинѣ, голова взѣхала выше на подушкѣ. Полузакрытые глаза стали затягиваться блѣдной пленкой, как у отходящей птицы. Выраженіе страданія появилось на лицѣ. Подошла Катя. «Начинаются боли», шепнула Глѣбу. «Надо морфій вспрыскивать.»

Послы поднялись. Александр Григорьич пріоткрыл глаза, сказал раздѣльно, слабо:

— Передайте классу... искреннюю мою благодарность.

Они вышли. На улицѣ Глѣб ясно почувствовал как хорошо, что вышли. Да, были. Что можно, сказали. Но...

— Ты думаешь, он не выживет?

Сереза отвѣтил со всегдашнею простотою:

— Почем я знаю?

Глѣб помолчал.

— А странный всетаки человек Александр Григорьич...

— Нѣт, чѣм-же странный? Обыкновенный.

Глѣб знал, что странный, не совсѣм такой обыкновенный, как Сереза думал, но объяснить было трудно, да и разговаривать не хотѣлось. Легкій укол и тоска были в нем.

Он остановил проѣзжавшаго лихача.

— Ты куда это?

— На урок. Хочешь, подвезу?

Сережа отказался. Глѣб один покати́л по Никольской. «Да, конечно, умрет...»

Извозчик быстро мчал к Театральной площади. Промелькнули базар, церковь, опять Садовая, дом полицмейстера Буланина. Глѣбу приятно было быстро ѣхать, вдыхать полувесенний, такой острый, свѣтлый воздух. Он его и пьянил, и нѣсколько облегчал — как бы провѣтривал.

Полина Ксаверьевна удивилась, увидав отъѣзжавшаго от их домика «рѣзваго».

— Вы нынче на лихачѣ? Это почему-же?

Она смотрѣла вопросительно, не выпуская изо рта папиросы. Пальцы как всегда перепачканы краской.

— Да это... так, случайно вышло.

— Случайно...

Полина Ксаверьевна поставила зеленоватый, глянцеви́тый в разводах кувшин, задрапировала его материей, достала начатый акварелью этюд.

— Мы были с товарищем у одного нашего учителя. Он очень болен. Вѣроятно, умирает.

— А! Вот как. Я вижу, что вы сегодня не в себѣ.

Она опять его оглядѣла, как старшая, как опытный, близкий человек. И слегка усмѣхнулась.

— Я вас вообще хорошо чувствую. Всѣ ваши настроенія... от меня трудно чтонибудь скрыть.

Глѣб подмалевывал рефлексы. Ему не особенно понравились ея слова. Что она ему, кузина, тетка?

Полина Ксаверьевна стояла за его спиной, курила, смотрѣла на акварель. Как всегда, от нея пахло скипидаром.

— Нѣт, в этом углу не тот тон. И не надо стѣсняться, чего-то робѣть...

Она взяла у него кисть, смѣшала краски на дощечкѣ, твердо, рѣшительно очертила тѣнь.

— Пустите, я сяду.

Глѣб встал, а она сѣла на его мѣсто. Не выпуская изо рта папироски, быстро перемазала глѣбово художество, все устроила по другому. Глѣб не мог бы сказать, что ему особенно нравится, как она дѣлает. Может быть, для Парижа именно так и надо, но ему не по сердцу. А его собственное писанье? В другом родѣ, но тоже не удается.

Глѣб мрачно глядѣл, как она распоряжалась его работой.

— Кажется, сказал наконец глухо: у меня вообще ничего не выходит. А... если вы за меня пишете, это мнѣ вовсе неинтересно. Конечно, я так не умѣю. Но хочу сам что-то дѣлать.

Полина Ксаверьевна положила кисть.

— Вы и дѣлаете. Вѣдь этот этюд вы-же и писали.

— Теперь чут ли не половину его вы сдѣлали, а не я.

— Какой самолюбивый!

— Не самолюбивый, а навѣрно бездарный... вот и все.

— Дарованіе состоит и в том, чтобы бороться и добиваться. Без упорства никто, ни один талант не может выбиться.

Глѣб впал в упрямый сумрак.

— У меня нѣтъ никакого дарованія.

Полина Ксаверьевна поднялась, обтерла руки, посмотрѣла на него внимательно и мягче.

— Вы нынче просто в нервном настроеніи. Вам все и кажется... Может быть, я напрасно стала пере-

дѣлывать? У вас вовсе и неплохо было, но я хотѣла по другому...

Она вдруг взяла его за обѣ руки.

— Не сердитесь на меня, милый...

Глѣб с удивленіем на нее взглянул. Если-бы она была молода, привлекательна, вѣроятно, был бы и тронут.

— Я нисколько не сержусь...

Полина Ксаверьевна вздохнула.

— Ах, если-бы вы знали...

Она нервно, сухой горячей рукой пожала ему руку, потом отошла к окну. Глядѣла в сторону бора-Яченки.

— Вы говорите, умирает ваш учитель. И взволновались. Это понятно. Вы так молоды.. А может быть и лучше, что он умирает? Вы не знаете вѣдь жизни, а особенно старости... Вы тоскуете. Вѣроятно, влюблены... да и тоскуете-то от молодости. У вас все впереди.

Глѣб не знал что сказать. Разговор становился странным. Когда он вѣхал сюда, никак не думал, что так выйдет.

Полина Ксаверьевна отошла от окна, взяла из коробки папиросу, закурила.

— Живопись. живопись...

По ея желтому лицу прошло какое-то дуновеніе.

— А знаете вы, что такое одиночество?

Глѣб не отвѣтил. Она оглядѣла комнату, холсты, этюды, Глѣба.

— Вспомните когда нибудь, что говорила вам Полина Розен: ничего нѣтъ страшнѣе одиночества.

На Масленицѣ Красавца вызвали в имѣніе под Перемышль — захворала богатѣйшая старуха. Мѣсто такое, куда приглашали и профессоров из Москвы. Для Красавца весьма почетно. Платили как слѣдует. Красавцу льстило все это, однако и не очень хотѣлось ѣхать. На Масленицѣ он привык ѣсть блины дома, блины и у безчисленных Терехиных, Барутов, Капыриных. По старой памяти можно было съѣздить в маскарад, приволкнуться за нехитрой маской — не до такой, конечно, степени, как в холостое время.

В уѣзд он выѣхал не в важном настроеніи. Впрочем, за послѣднее время чувствовал себя вообще безпокойно, невесело. Ему шел пятьдесятъ седьмой год. Болѣла нога, сердцебіенія чаще, меньше можно пить. Главное-же с Олимпіадою дѣла плохи. Когда он сам с собой разсуждал, выходило как будто-бы гладко. «Она должна быть мнѣ благодарна. Ну-те-с... Положеніе, достаток... Развѣ я отказывал ей в чем? Платья, наряды... Сам я тоже не кто-нибудь, меня вся Калуга знает. У нас бывает вице-губернаторша. Гдѣ она видѣла это в фирсовском домѣ?» Разсужденіе, будто-бы, и безспорное. Но покоя в душѣ не было. Эта могучая, молодая, синеокая женщина — его жена, и она должна его любить... Тут начиналось какое-то *но*. Красавец, из уваженія к себѣ, не договаривал. Молчаливая-же, не-гоноровая часть его души тосковала. Ревнивым он был всегда. Теперь это обращалось в болѣзнь.

К больной съѣздил Красавец безрадостно, по уже портившейся дорогѣ, вот-вот и распутица на-

станет. Старуху лѣчил как надо, и как надо она умерла, не доставив особаго горя окружающим. Но на все это ушло трое суток. Двѣсти рублей, двѣ Екатерины, пріятно шелестѣли в бумажникѣ. Когда он спускался на тройкѣ к мосту чрез Оку, по обтаявшему перемышльскому большаку, в Калугѣ звонили уже к меѣимонам: пропустил Масленицу — поне-дѣльник великаго поста! Красавецъ нелюбил пост: церковь пагоняла на него уныніе. Хотѣлось намокать, нравственно встряхиваться, а тут изволь думать о смерти, вѣчности. Успѣется еще.

Когда он подъѣзжал к своей квартирѣ на Никитской, Глѣб сидѣл у себя в комнатѣ в очень смутном настроеніи.

Весь вчерашній день он испытывал раздирательную тоску. Дѣлать рѣшительно ничего не хотѣлось. Олимпиады с утра дома не было. К вечеру Никитская полна была гуляющих, по оттепельным ухабам неслись лихачи, купеческія тройки катали степенно. По мокрым тротуарам сновали приказчики, барышники, офицеры, гимназисты. Глѣб, выйдя на улицу, взглянув на пронзительно-розовое предвечернее небо, вдруг чуть не заплакал. Толпа была невыносима. Но все равно. Он один, ему нигдѣ нѣтъ мѣста... — да и жизнь — вот эти толстые купцы, чиновники, городской на углу? Глѣб неожиданно рѣшил идти к Полинь Ксаверьевнѣ. Это уж потому хорошо, что сворачиваешь с Никитской, меньше пошлых праздничных лиц. Масленица! Он погибает, а они обжираются своими блинами.

Полины Ксаверьевны дома не оказалось. Глѣб вернулся домой. Тут происходило нѣчто необычное. У подъѣзда стояла тройка, кучер и дворник прила-

живали в сани огромный олимпиадин чемодан. Глѣб сразу его узнал. Прошмыгнула гарничная Дуня. Наверху, в передней, он столкнулся с Олимпиадой. Она была нѣсколько блѣдна, глаза сіяли, ротонда охватывала могучее ея тѣло.

— Ах, вот ты, Глѣбочка... Я ужасно спѣшу.

— Уѣзжаешь?

Она не назвала его ни «профессором», ни «Байроновичем». Она вообще была другая. Обняла,дохнула неистребимой силой свѣжести, духов, молодости.

— Да, к родным. На нѣсколько дней. Так и дядюшкѣ можешь сказать... впрочем, нѣт, не говори. Я ему письмо оставила. К родным. Под Алексин. Прощай! Некогда. И не провожай. Иди. Ну, с Богом...

Олимпиада быстро его поцѣловала, отворила дверь на лѣстницу. С тѣм Глѣб и остался. Все было кратко, бурно, ни на что непохоже. Он подошел в залѣ к окну — тройка рѣзво взяла вверх по Никитской. Какіе родные под Алексиным? Почему у ней такой вид? Глѣб рѣшительно ничего не понял. Что за таинственность? Настроение его не то, чтобы улучшилось, но перебилось: точно-бы он повернул за угол. Но в новом этом направленіи было нѣчто тревожное.

Вечером в понедѣльник Красавец снял с себя шубу в передней собственной квартиры. Его удивило что-то в лицѣ Дуни.

— Барыня дома?

— Никак нѣт.

Через двѣ минуты он постучал в комнату Глѣба. Вошел оживленно, с обвѣтренными от ѣзды на

лошадах щеками, покраснѣвшим носом. Лоб наморщен, губы с важностію выдаются вперед.

— Здравствуй, душечка.

Он поцѣловал вставшаго Глѣба в лоб.

— Учился? Как всегда. Наша порода. А скажи, пожалуйста, гдѣ-же Олимпиадочка?

Глѣб за эти сутки много передумал. Болѣе или менѣе представлял теперь себѣ, в чем дѣло. Но не знал, как держаться.

— Она сказала, что поѣхала к родным... пол Алексин.

— Под Алексин?

Красавец стал медленно блѣднѣть. Будто хотѣл сказать что-то — не сказал. Глѣб совсѣм потерялся. Да не выходит-ли так, что и он соучастник? Он сдѣлал над собой усилие — точно проснулся.

— Впрочем... там есть письмо для тебя, в залѣ, на подзеркальничкѣ.

С этого и надо было начинать. Письмо он, дѣйствительно, видѣл, и вчера вечером и сегодня. Именно вот сегодня не без жуткости мимо него прошел.

Чувство это было правильное. Три минуты спустя в благоустроенной квартирѣ на Никитской началась новая жизнь, предлагая Глѣбу новыя для него картины, открывая новыя стороны человѣческаго бытія. «Полицію!» кричал в залѣ Красавец. «Силой верну! Похищеніе! Под суд негодяя!»

Со стѣны в кабинетѣ слетѣл портрет Олимпиады — стеклянные осколки брызнули по паркету, когда шваркнулось об него лицо калужской красавицы. Потом был страшный крик на Дуню, дворника, кухарку. Мимо Глѣба буря неслась не задѣвая, но он был сбит, поражен — все это выходило из обычнаго.

Глѣб не особенно задумывался над тѣм, что такое брак, но привык считать, что если его отец и мать — муж и жена — то уж так тому и быть, раз навсегда. Представить себѣ, чтобы мать сложила чемоданы, уѣхала и оставила-бы письмо, послѣ котораго отец стал-бы кричать: «полицію!» — невозможно. Но здѣсь «такое» именно произошло.

Отгремѣвъ дома, Красавец кинулся вон с видом вепря, готоваго поднять на клыки и врага, и невѣрную. Неизвѣстно, гдѣ вепрь носился по великопостной Калугѣ. Можно думать, что полицмейстер Буланин, грустно разглаживая рукою могучіе подусники, заправляя их в смущеніи в рот, уговаривал пріятеля не «волноваться, щадить свое драгоцѣнное здорье. Здорьеце щадить. Драгоцѣннѣйшее. Калужская полиція к его услугам — выполнит свой долг. Но здорье важнѣе. И не пропустить-ли по перцовочкѣ? А утро вечера мудренѣе.» Красавец и кипѣлъ, и пропускалъ, и намокалъ — домой вернулся поздно. Что дѣлал остаток ночи, неизвѣстно. Утром-же с ним случился припадок сердца. Дуня летала к доктору Гоштофту.

Старик в крылаткѣ, с бакенбардами снѣжной бѣлизны, Гоштофт всѣх излѣчивал непобѣдимым благодущіем, снѣговым сіяніем бакенбард. Красавец несколько не вывел его из равновѣсія. Он ласково гладил свои бакенбарды — одну, другую. Одну, другую. Ушла жена — невесело, но случается. Главное, не волноваться. Это «в нашем возрастѣ» вредно. Пульсик? Ну да, слегка ускорен. Ничего, все давно извѣстно.

Для Гоштофта дѣйствительно было извѣстно. За свою долгую жизнь он не раз сходилса и расходился.

Похоронил собственную жену, жил с чужими, вторая собственная от него ушла, он женился на третьей — и ее пережил и опять занялся чужими. Считал, что волнения страстей, любви, ревности необходимы, но мало-ли еще что необходимо. Относиться-же ко всему надо философически: т. е. благодушно-равнодушно.

Прогладив перед Красавцем еще раз бакенбарды, он дал ему ландышевых капель.

Однако, характер Красавца был иной чѣм у Гоштофта. Ландышевыя капли дѣйствовали, но не все могли сдѣлать. Внутренно Красавец кипѣл. Хорошо, что Олимпиада и Александр Иваныч находились далеко. Вблизи Красавца небезопасно-бы им было. Но их укрывала Россія — необъятностію своею. По той самой «широкой дорогѣ — желѣзной!», которою соблазнял Глѣба Александр Иваныч, успѣли они укатить далеко. Ищи вѣтра в полѣ! И еще был союзник: время. Оно шло и шло. Красавец кипѣл и варился в пріокской Калугѣ о тридцати шести церквах, но нельзя кипѣть вѣчно — начнешь остывать.

Сначала казалось, что со дна моря он их достанет. Но каждый прожитой день ослаблял. И даже в погоню никуда он не вылетѣл, хотя полицмейстеру-другу Буланину и подал жалобу с просьбой «найти похищенную его супругу, возвратить по этапу в город Калугу и водворить на законное жительство в квартиру мужа.» Буланин меланхолически расправил подусники, завернул их концы в рот и вновь завѣрил Красавца, что «калужская полиція всецѣло в его распоряженіи.»

Глѣбу все это казалось странным, но очень грустным. К собственному удивленію он замѣтил, что и

ему жаль... — жаль, что не слышно больше из залы «Так взгляни-жь на меня, хоть один только раз...» или «Гаснут дальней Альпухарры...», что не проходит больше Олимпіада каждый день мимо него, легко неся крупное тѣло, синеокая, душистая — иной раз улыбнется, обнимет, по родственному поцѣлует. Красавца тоже жалѣл.

Глѣб сам еще не испытал страстей, тут впервые видѣл как грызут онѣ, томят и мучат. На его глазах Красавец похудѣл и ослаб — ночи без сна не украшают.

Раз, великопостными сумерками, Глѣб неожиданно вошел в столовую. Красавец сидѣл за пустым столом, на обычном своем мѣстѣ, подперев голову рукой. Против него, через стол, должна-бы находиться Олимпіада. В комнатѣ было тихо. Увидѣв Глѣба, Красавец быстро поднялся, вынул из бокового кармашка ослѣпительный платочек. От него пахло духами. «Да, душечка, вот и позднѣе смеркаться начинает. Весна...»

Как ни быстро отвернулся Красавец, Глѣб замѣтил, что все лицо его залито слезами. Он обмахнулся платочком, собрал на лицѣ привычное, не без важности, выраженіе, выпятил немножко вперед губы: «Через мѣсяц уж распускают? Экзамены? Незамѣтно пройдет. Ничего, ничего. Работай. Поддерживай честь нашего рода. Как всегда должен быть молодец.» Глѣб таких разговоров не любил. Но сегодня был тих, покорен. Согласился, что и весна идет, и экзамены скоро. «Кончишь, уѣдешь... и поминай как звали,» вдруг сказал Красавец — и всхлипнул. Глѣб совѣм удивился.

Так-же внезапно, как появилась в городѣ, собралась Полина Ксаверьевна и покинуть его. Глѣб узнал об этом за нѣсколько дней до ея отъѣзда. «Я рада», заявила Полина Ксаверьевна, «что вы тоже скоро оставляете эту Калугу. Нечего вам тут дѣлать. В винт играть? Нѣтъ, вам нужна столица.» Глѣб мрачно отвѣтил, что теперь он увѣрился: никаких дарованій у него нѣтъ, не все-ли равно, прозябать в Калугѣ или Москвѣ?

Из окна видны были цвѣтушіе сады, спуск к Яченкѣ, вѣчнозеленый, равнодушный бор. Ничто из этого не годилось уже для этюда акварелью. Комната, как и зима, как неудачные уроки — как жизнь Полины Ксаверьевны — все это было уже прошлое. Май своим блеском заметал все.

— Есть у вас дарованіе, или его нѣтъ, в том оно состоит, или в другом, покажет жизнь. А сейчас вам идет восемнадцатый год, это дѣтскій возраст. Все для вас впереди. Вы о себѣ ничего еще не можете знать. Я вас тоже мало знаю, потому что вы скрытны. Но не представляю себѣ вас через двадцать лѣтъ таким, как ваш дядюшка, котораго вы называете Красавцем.

— Отец хочет, чтобы я был инженером.

— Ничего не знаю. Но не вижу вас ни инженером, ни буржуем.

Полина Ксаверьевна сидѣла на уложенном сундучкѣ. Глубоко затаилась, пустила дым из обѣих ноздрей, внимательно на струи глядя.

Глѣб был отчасти польщен, все-же не это могло разсѣять его. Май, юность, здоровье, впереди столица... — Но все безпросвѣтно. Почему? А вот имен-

но так и было. Занимало лишь это. И Глѣб в нѣкотором даже безразличіи распрошлся с Полиной Ксаверьевной. Уѣзжает и уѣзжает. Из живописи его ничего не вышло, остальное неинтересно. Ну, будут экзамены, он должен их хорошо выдержать, в іюнѣ надѣнет штатское, уѣдет в Москву. Если спросить, совѣм-ли это неинтересно, пожалуй что и не скажешь... Все равно, Глѣб принялъ опредѣленную позу. Может быть, и сама горечь ея доставляла ему удовольствіе.

Перед экзаменами их распустили: в Училище не ходить, надо готовиться, люди седьмого класса наполовину уже «штатскіе», «студенты». Разные разные жили. Сережа Костомаров ни о чем не думал кромѣ ученья. Флягин был увѣрен, что на устном подсказут, а письменный он «сдерет». И продолжал жизнь калужскаго Казанова. Глѣб, несмотря на меланхолію, все-же готовился.

Красавецъ уѣхал на нѣкоторое время в Москву, в Москвѣ разбила временный шатер свой Полина Ксаверьевна, высматривая, куда-бы дальше направиться. Заканчивал свое земное странствіе в Калугѣ Александр Григорьич. Не считаясь с экзаменами «ввѣреннаго ему класса.» он умирал именно в маѣ этого года — в сіяющем, цвѣтущем.

Бывшая Катя Крылова со спокойствіем вела его до послѣдняго часа. Час наступил, как надлежало ему, погрузил одноэтажный красный домик в особое состояніе, называемое смертью. Ее много описывали и будут описывать, никогда не опишут, никогда че поймут. Катя тоже не понимала. Но чувствовала — началось новое. Одно дѣло, когда Александр Григорьич, хоть и страдал, был живой,

и другое, когда не страдает, но лежит в гробу на спинѣ. Катя прожила с ним три года, считала, что он живой, а не мертвый. Теперь же все повернулось так странно...

Как и Катя, Глѣб впервые видѣл неживого человека. Он много меньше знал Александра Григорьича, чѣм она. Но тоже не мог понять, что он умер. А между тѣм сам, с Сережей Костомаровым, Флягиным и другими выносил его гроб из церкви Георгія за Лавками. Сам шел за ним сначала до Училища, гдѣ о. Парфеній служил литію. Потом, под майским солнцем, через всю Калугу провожал на кладбище у Лаврентьевской роши: сколько-бы ни струило теплом и свѣтом, как-бы трогательно ни пѣли пѣвчіе, как-бы замѣчательно ни заливались рядом в полях жаворонки — все равно то видимое, мертвенно-мраморно-синеватое, что всегда было Александром Григорьичем, уходило теперь вглубь. Горсть земли, самим Глѣбом брошенная, непонятно стукнула о крышку, отдѣлявшую свѣт, май, Лаврентьевскую рошу, Глѣба от ушедшаго.

Все это довольно быстро кончилось. Директор сказал небольшую рѣчь — назвал покойнаго образцом долга и порядка. Постояли, послушали, понекому стали разбредаться. Осталась могила, вѣнки, ленты, над ними небо да жаворонки.

Директор и кое кто из учителей уѣхали на извозчиках. О. Парфеній сѣл-было в пролетку с псаломщиком, но потом почему-то слѣз. Глѣб оставался дольше — побродил по кладбищу, читал надписи, разсматривал кресты, плиты.

Шестой час. небо прозрачное, стеклянно-золотое. Глѣб подошел к опушкѣ Лаврентьевской роши

— шагнуло знакомым, с дѣтства любимым запахом пригрѣтаго сосонника. Но под соснами все-же прохладнѣй. Тут есть тропка, через рощу тоже можно пройти, пожалуй — и ближе.

Налѣво сквозь деревья мелькнули два-три столика под деревьями. Женщина в платочкѣ и передникѣ ставила на один из них самовар с синим дымком. Глѣб сразу все вспомнил. Еще давно, когда жили они на Спасо-Жировкѣ, были раз с матерью, Лизой, Соней-Собачкою в этой Лаврентьевской рощѣ. Здѣсь обычно бабы выносят калужским гостям вот такіе мѣдные самоварчики, с угарцем из трубы, с цвѣтистыми чашками. На деревянном столикѣ скатеретка, тарелка с душистою земляникой, табуретки... — наслаждайся природой!

И тогда все так именно было. И день такой, и такая-жь сухмень. Синевато-златистая, плывущая по мху свѣтотѣнь. Они пили чай, а потом бѣгал он с Соней по рощѣ, искали грибов, ничего не нашли. «Да, вот и тропка, оттого я ее и узнал.. там ложочек, мелкій сосонник, а потом взгорье».

Он шел теперь увѣренно в обволакивавшей его солнечной нѣжности, легкой, но пріятной духотѣ бо-ра. Как здѣсь славно!

Легкій холодок прошел под сердцем. «Он лежит там... да, уж теперь навсегда.»

Подойдя к мелкому сосновому подсѣду, он рукой стал задѣвать мягкія вѣтви, иногда срывал шишку, захватывал в ладонь теплыя иглы, растирал их: что за запах!

«Гдѣ сейчас его душа? Чувствует, что Катя тоскует, плачет по нем?» Глѣб вдруг ясно увидѣл Александра Григорьича в корридорѣ Училища: застегну-

тый на всѣ пуговицы вицмундир, блѣдное лицо с умными карими глазами. «А я вам говорю, что Золя пакостный писатель.» Но все это ушедшее. Вечер так удивителен. В Калугѣ ударили ко всенощной.

Незамѣтно он поднялся на изволок. Мелкій шодсѣд кончился. Опять стало просторнѣе, большія сосны медленно что-то напѣвали вершинами. В нѣскольких шагах слѣва, на пенекѣ, сидѣл сняв шляпу о. Парфеній. Увидѣвъ Глѣба, слегка улыбнулся, приподнял длинную худую руку. Сѣрые его глаза были задумчивы, но привѣтливы.

— Кажется, я заблудился. Хотѣл сократить путь, а не вышло-ли наоборот?

Глѣб подошел к нему, поклонился.

— Нѣтъ, вы не заблудились. Тут теперь недалеко от дороги.

О. Парфеній внимательно на него смотрѣл.

— Вы знаете эти мѣста?

— Да, немного.

Всю эту весну Глѣб вполне мирно провел с о. Парфеніем. Никаких больше трещин. Все гладко, как всегда — что то в о. Парфеніи волнующее, как бы возбуждающее. Как всегда что-то удерживает и отдаляет. Сейчас Глѣб стоял перед ним и не знал, сѣсть-ли, идти-ли дальше, проводить-ли.

— У вас взволнованное лицо, сказал тихо о. Парфеній. — Впрочем, это вполне понятно.

Он запахнул рясу, поправил золотой крест на груди, поднялся — сразу стал как всегда высокій, худой, согбенный.

— Если вам нетрудно, то проводите меня. Пройдемся. Вѣдь так прекрасно сейчас тут.

— С удовольствіем.

Глѣбъ сказалъ это не только изъ вѣжливости. Ему, правда, нравилось идти с о. Парфеніемъ. Его настроенію онъ отвѣчалъ.

Сначала шли молча. Потом о. Парфеній замѣтилъ, что скоро для Глѣба начнется другая жизнь — куда именно думаетъ онъ поступать? Глѣбъ довольно вяло принялся объяснять.

— А какъ вы вообще себя чувствуете?

— В какомъ смыслѣ, о. Парфеній?

— В смыслѣ отношенія къ жизни, своей будущей роли в ней, дѣятельности...

Глѣбъ былъ настроенъ довольно скромно.

— Мнѣ трудно отвѣтить. Я ужасно мало знаю и понимаю.

О. Парфеній кивнулъ утвердительно.

— Странно было-бы, если-бы все понимали.

Они прошли нѣкоторое время молча.

— Я знаю, сказалъ о. Парфеній: что многое внутренно, духовно для васъ трудно. Вамъ хочется все самому рѣшить, добраться собственнымъ умомъ... Такое состояніе душевное очень свойственно юности.

— Хочется, но чрезвычайно мало изъ этого выходитъ.

На вопросъ о. Парфенія, твердо-ли онъ вообще вѣритъ и что именно особенно его смущаетъ, Глѣбъ отвѣчалъ в томъ смыслѣ, что иногда ему кажется, что онъ вѣритъ, а иногда, что нѣтъ.

— Во Христа-то, в Его воскресеніе вѣрите?

— Да-а...

Глѣбъ вертѣлъ в рукахъ молодую зеленую шишку.

— А смерти все-таки не могу понять. И многого другого.

Он бросил шишку. Она ударилась о сосну, отскочила вбок. О. Парфеній таинственно улыбнулся.

— Ничего, ничего. Живите. Чувствуйте. Все придет.

Они подходили к опушкѣ роши. В закатѣ горѣлъ золотой крест монастыря под Калугой. В невѣсомом полетѣ ласточек, сіяніи златистаго воздуха, безмолвіи, в тихом млѣніи домов и садов под уходящим солнцем было что то необычайное. О. Парфеній остановился.

— Вот он, Божій мір.

Он перевел свои огромные, сѣрые глаза на Глѣба.

— Да, пред нами. А над ним и над нами Бог. Им все полно! Развѣ вы не чувствуете?

Холодок побѣжал от плечей Глѣба к локтям. В боках что -то затрепетало.

— Главное, — тихо продолжал о. Парфеній, — главное знайте — над нами Бог. И с нами. И в нас. Всегда. Вот сейчас. «Яко с нами Бог».

О. Парфеній говорил как бы заклинательно.

— Довѣряйтесь, довѣряйтесь Ему. И любите. Все придет. Знайте, плохо Он устроить не может. Ни міра, ни вашей жизни.

**
*

Глѣб чувствовал себя ровно, крѣпко, в том нечрезмѣрно нервном подъемѣ, который обостряет способности, но не настолько владѣет, чтобы лишать управления ими. Начинались экзамены — скачки с препятствіями. Некогда уже думать есть у него талант или нѣтъ, существует-ли Бог или нѣтъ. И об Аннѣ Сергѣевнѣ некогда тосковать — нынче перескочил

через изгородь, там канава, дальше забор и ров: скачи, скачи, не оглядывайся, не уставай, работай по десяти часов в день: тренируйся, чтобы завтра перепрыгнуть и чрез ирландскую банкетку.

Молодость несла его. И здоровье, полнота сил восемнадцатого года жизни. Засыпал камнем, камнем спал. В шесть утра вскакивал без головной боли, с одним ощущением, вытянутым в прямую: вперед, да вперед, впереди других.

Александр Григорьич предсказал правильно: Флягину было трудно. Он старательно списывал, гдѣ мог. Сопѣл, сморкался, ерошил волосы на головѣ. Бѣлесые глаза его испуганны, щеки пылают. Для устных испещрял он манжеты іероглифами, прилаживал шпартгалки на резинкѣ, дѣйствовавшей в рукавѣ (прикрѣплялось внутри, у плеча). Получал и предѣльную мѣру подсказа. Всетаки единственный в классѣ он и не выдержал. «Лѣнище», говорил покойный. Это было вполне справедливо и в устах Александра Григорьича звучало осуждением. Таков личный его взгляд. Он необязателен, хотя раздѣляется многими. Флягин пострадал, предпочтя жизнь наукѣ, но при этом пал духом.

В день, когда поражениe его выяснилось, он пришел к Глѣбу в полупустую квартиру на Никитской — Красавца ждали из Москвы лишь завтра. Глѣб только что вернулся домой от Костомарова. В портновском магазинѣ брат Сережи помогал Глѣбу надѣвать давно заказанный штатскій костюм. Еще болѣе ушастый, еще болѣе веснушчатый чѣм Сережа, брат с довольным видом обдергивал на Глѣбѣ произведение свое, уже не измѣрял неприятно п-п, а любовался. «Как в Москвѣ сшито. В раз. В аккурат». Глѣб вер-

тѣлся передъ зеркаломъ, старался казаться равнодушнымъ, но, конечно, сіял. Сіянія скрыть не могъ, брату оно доставляло тоже удовольствіе: не зря трудился.

Однако, аттестаты еще не выданы. Глѣб пока «ученикъ седьмого класса». И костюмчикъ надо снять, по Никитской идти в формѣ, неся пакетъ подмышкою.

Дома можно было-бы показаться Дунѣ и кухаркѣ в полномъ блескѣ, но при Флягинѣ Глѣб не рѣшился даже развязать пакета.

Вид у Флягина былъ ужасный. Онъ не спалъ ночь, глаза напухли отъ слезъ, щеки багровыя. Такъ знакомые Глѣбу нехитро-бѣлесоватыя, но благодущныя глаза глядѣли дѣтски-жалобно. «Да можетъ еще переэкзаменовку дадутъ?» говорилъ Глѣбъ. «Почемъ ты знаешь, что такъ безнадежно?» «Нѣтъ, я ужъ, я ужъ...» Флягин опять заплакалъ. «Ты счастливый, ты выдержалъ.. а я... что теперь в Мещовскѣ папаша скажетъ?»

Глѣбъ чувствовалъ себя смущенно. Собственно, чѣмъ-же онъ виноватъ, что выдержалъ? Но с Флягинымъ годы сидѣлъ на одной скамейкѣ, подсказывалъ, выслушивалъ рассказы о побѣдахъ — никогда они не ссорились, прожили дружно. Жалко! Вотъ послѣзавтра выдаютъ аттестаты, а потомъ, вечеромъ, товарищескій пикникъ в бору за Яченкой, выпивка — Флягина, разумѣется, не будетъ.

Глѣбъ хоть и не разворачивалъ своего костюма, но Флягин замѣтилъ пакетъ — сразу сообразилъ. «Штатскій костюмъ? Шикарно!» Глѣбъ, дѣлая видъ, что заказалъ его лишь по крайней необходимости, признался, что это именно костюмъ. Флягин усиленно сморкался и настаивалъ, чтобы Глѣбъ показалъ его. Пришлось костюмъ распаковывать. Но надѣтъ Глѣбъ рѣшительно отказался. Флягин щупалъ матерію, прикидывалъ на

Глѣба. «Костюмон знатный», сказал наконец, убитым голосом. Глѣб был рад, когда он ушел: жалко-жалко, но без него лучше.

Красавец прїѣхал на другой день. Хотя в Москвѣ он усиленно намокал, стараясь разсѣяться, все-же за это время вообще измѣнился: стал тише, менѣе разглагольствовал, грудь уж не так «колесом», губы с трудом наморщивались в важно-гоноровую складку.

— Душечка, очень за тебя рад. Первым кончил прекрасно. Иного и не ожидал. Так и надо. Отец твой в Горном трудился, я в Воснно-Медицинской Академіи. Привѣтствую.

Он расцѣловал его, подарил сто рублей и прекрасный портфель («из Москвы, милочка!»). Глѣб был совсѣм смущен. Но еще большее смущеніе — радостное — произошло в день выдачи аттестатов: Красавец пригласил его обѣдать в ту разноцвѣтно раскрашенную, пестренькую, со стеклянной верандой на Оку «Кукушку», к которой вчера еще и приблизиться не мог «ученик VII класса Калужскаго реального училища». А теперь он молодой человек в штатском сам с усам, попробуй-ка его тронуть!

День был прелестный, безоблачно-іюньскій. Столик у самага края. Внизу Ока. Солнце явно переходило уж к вечеру. За Окой стекла блестяли в Ромодановском. Перемышльскій большак подымался за понтонным мостом — уводил столѣтними березами к Козельску, Оптиной, Устам — странам для Глѣба уже легендарным.

Красавец в «Кукушкѣ» был знаменит. Немало оставил здѣсь денег, всѣ его знали и кланялись. «Человѣки» увивались. Он заказал стерлядь кольчиком, утку, мороженое. Появилась и бутылка шампанскаго.

— Поздравляю еще раз! Нынче в твоей жизни важный день. Продолжай трудиться, поддерживай наше доброе имя. Ну-те-с... и будь счастливей нас. Да, счастливей.

Глаза Красавца слегка затуманились. Но он сдержался.

— Умивай нас ты просто обязан быть, это без всяких разговоров. Но желаю, чтобы именно счастливей.

Красавец вдруг выпятил нижнюю губу, как раньше, в лицо его что-то задрожало. «Ну-те-с... да, разумеется...» Он как будто хотел что-то сказать более глубокомысленное, но не вышло. Можно было подумать, что просто сейчас он расплачется.

На веранду вошла небольшая компания, стала разсаживаться за недалеким столом.

— Батюшки мои, Анна Сергеевна! Петр Петрович!

Красавец шумно поднялся, направился к соседям. Они пришли кстати.

— Ручку! Анна Сергеевна, пожалуйста ручку! Глэбово окончание празднуем. Оч-чень рад, оч-чень рад!

Глэб привстал, поклонился-было издали, но Красавец требовал уже его туда. Анна Сергеевна ласково кивала.

— Глэб, идите, я хочу на вас посмотреть, какой вы в штатском!

Глэб, мучительно смутившись, поцеловал тоненькую ее ручку.

— Совсем взрослый!

— Хоть куда!

— Студентом скоро будете? Поздравляю!

Глэбу пожимали руку, незнакомая дама смеялась.

Снисходительно улыбался член Управы. Анна Сергѣевна продолжала глядѣть на него огромными сочувственными своими глазами.

— И теперь уж в Москву?

— Да, завтра уѣзжаю...

— Вы счастливѣ нас. Москва, студенчество...

Ну, во всяком случаѣ я от души, от всей души вас привѣтствую. Господа, я хочу тоже выпить шампанскаго, за здоровье будущаго студента!

Опять чокались.

— Анна Сергѣевна, ангел, — говорил Красавец, — вы мнѣ Глѣба не спаивайте. У него сегодня еще с товарищами кутеж.

Но Глѣб шампанское пил, с Анной Сергѣевной чокался — несмотря на дядюшку.

**
*

Все развивалось как надо и все ушло. Надо было кончить Училище — кончили. Полагалась по окончаніи выпивка — выпили, шумно и весело, в бору за Яченкой. Уславливались «через двадцать пять лѣт» опять съѣхаться всѣм и вспомнить старину, «не забывать друг друга»... — и забыли, и не встрѣтились.

Нельзя было и с учителями не проститься (они тоже безслѣдно канули). Кудлатый Михаил Михайлыч слегка даже прослезился. «Ну, вот, всѣм искренно желаю... надѣюсь, что тѣ основы... заложенные мною в рисованіи... помогут вам и в жизни» — Михаил Михайлыч вполне был увѣрен, что планчики и заборка от всего помогают.

Козел проявил свое краснорѣчіе. «Как это вот там... ну? Гдѣ будете учиться? Ну, в Москвѣ, вот это как... в Москвѣ будете учиться..» Да. В Москвѣ. Ну, значит, и хорошо».

А о. Парфеній был пріятлив, прохладен, слегка улыбался таинственными своими глазами. Легкая, но трудно-переходимая черта попрежнему отдѣляла его от всѣх — и от Глѣба. Все-таки, он благосклонно Глѣбу улыбнулся, подарил свою фотографическую карточку. На обратной сторонѣ ея было написано его рукой: «Служите друг другу, каждый тѣм даром, какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божіей» (1. Петра, IV, 10).

— Душечка, ты уж меня извини, — сказал дома Красавец, — провожать на вокзал не смогу. Вечером вызван к тяжело-больному.

Может быть, этот больной в просторѣчій назывался винтом у Терехиных — Глѣб не вдавался в подробности. И не горевал.

В десять часов нарядный извозчик «на резинках» мчал его к вокзалу, мимо Николаевской гимназіи. Июнь, ранняя ночь синѣет. В синевѣ этой все, что ушло: дѣтскія горести, ранцы, уроки. Вѣтер навстрѣчу ласков. Дуновеніе его — дуновеніе Времени, заносащаго прахом бывшее — Московскія ворота, влѣво вдали Лаврентьевскую рощу, сзади Никитскую и Никольскую, Училище, тридцать шесть церквей города Калуги.

Бѣг рысака вонзал юношу с чемоданом, в канотье, свѣженьком костюмчикѣ, в теплую темень будущаго. Незамѣтно долетѣли до вокзала. Глѣб никого провожающих не ждал и не ошибся. Но и без прово-

жающих все протекало как надо. Поѣзд пришел вовремя. Носильщик посадил Глѣба и в назначенный час поѣзд тронулся, пошел вдаль за Калугу, посылая искрами поля под Ферзиковым и Алексиным. Глѣб один сидѣл в купѣ у открытаго окна.

1939 г.